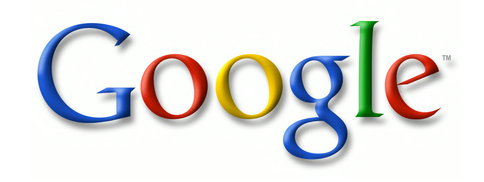
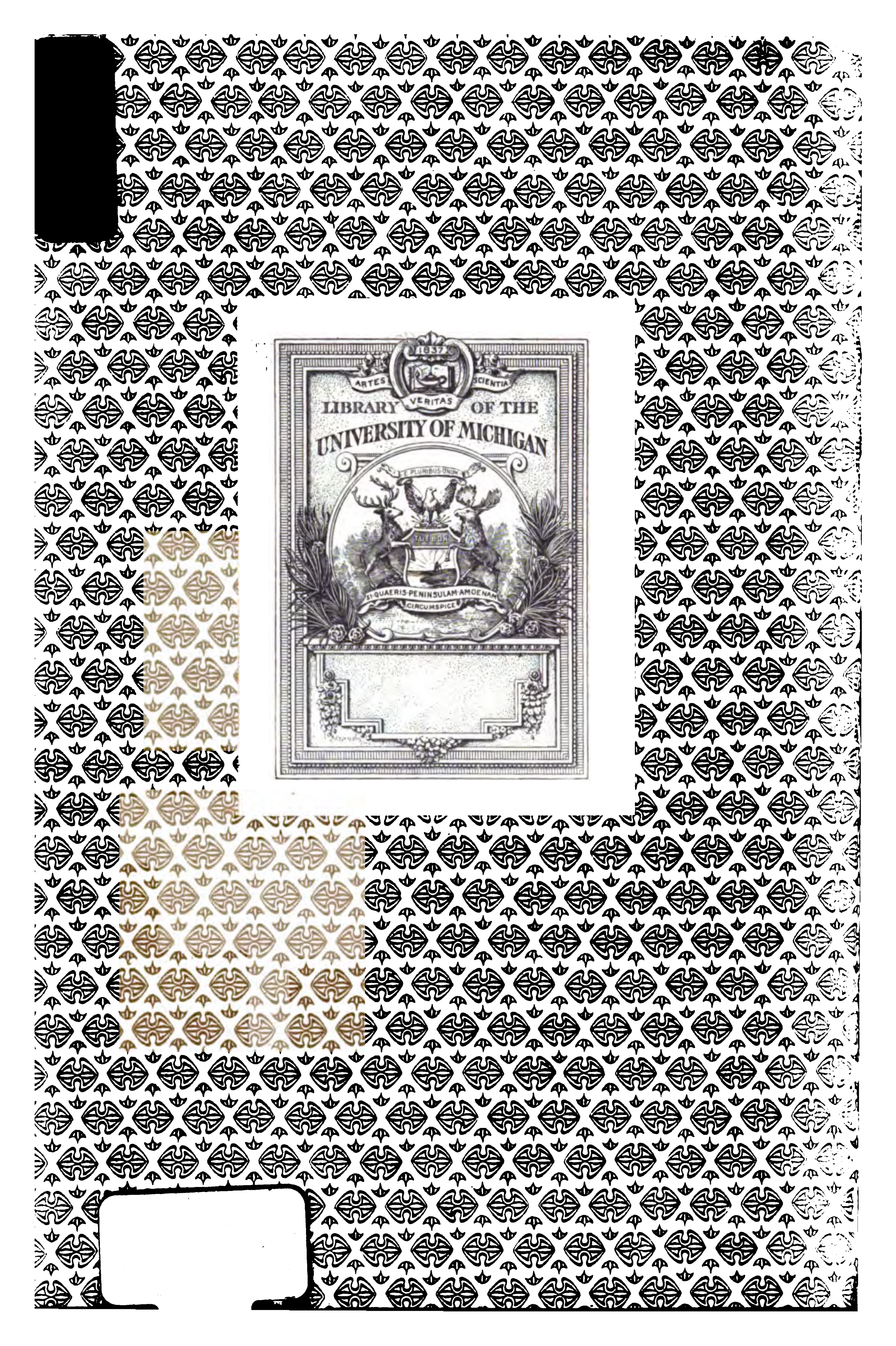
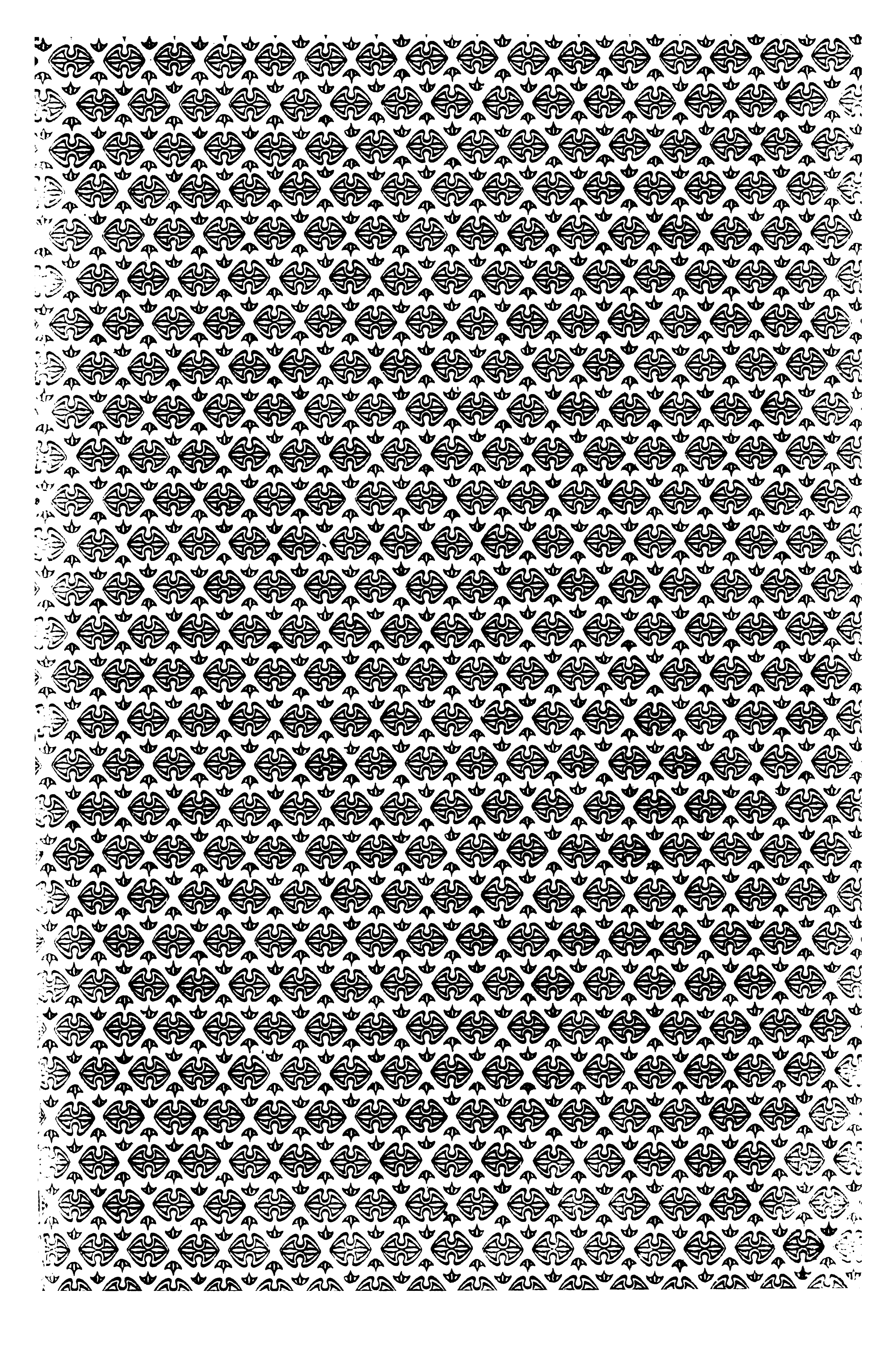



1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



ПУШКИНЪ

ВЪ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ И ПИСЬМАХЪ.

НУШКИНЪ

ВЪ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ И ПИСЬМАХЪ.

ПО ПОВОДУ ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЯ СО ВРЕМЕНИ ЕГО СМЕРТИ

(1837 — 1887).

А. С. Архангельскаго.

КАЗАНЬ.
Типографія Императорскаго Университета.
1887.

По опредѣленію историко-филологическаго факультета Императорскаго Казанскаго университета, печатать дозволяется. 24 января, 1887 года.

Деканъ *Д. Бѣляевъ.*

ПУШКИНЪ

ВЪ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ И ПИСЬМАХЪ.

По новоду пятидесятилѣтія со времени его смерти.

29 января 1837 года Россія внезапно потеряла одного изъ величайшихъ своихъ людей, — геніальнаго писателя, съ именемъ котораго неразрывно связано все послѣдующее развитіе русской литературы и общественной мысли... При первомъ извѣстіи о страшномъ несчастіи, — толпы народа стали наполнять квартиру умиравшаго поэта; болѣе 10,000 перебывало послѣ—желая поклониться его гробу... Эти люди какъ бы сердцемъ своимъ сознавали, кого теряла Россія. Правда, въ ряду современниковъ были и другіе, — имъ посвятилъ Лермонтовъ послѣднія 16 строкъ своего знаменитаго стихотворенія *На смерть Пушкина...* Потомство съ полнымъ благоговѣніемъ отнеслось къ памяти поэта. Мы недавно были свидѣтелями цѣлаго ряда небывалыхъ еще у насъ литературныхъ торжествъ,—по случаю постановки великому поэту памятника на мѣстѣ его рожденія. Это были дни какого-то святого восторга, — разомъ охватившаго все русское образованное общество предъ свѣтлымъ образомъ генія, украшеннаго столь страдальческой кончиной! Прекрас-

ный бронзовый памятникъ, открывавшійся на Тверскомъ бульварѣ—совершенно терялся, стушевывался передъ выступившимъ теперь, среди единодушнаго и восторженнаго поклоненія памяти поэта, безконечнымъ рядомъ другихъ, „нерукотворныхъ“, болѣе дорогихъ и вѣчныхъ, памятниковъ, воздвигнутыхъ себѣ поэтомъ въ сердцахъ представителей его ближайшаго потомства...

Наступающее пятидесятилѣтіе его кончины невольно опять переноситъ нашу мысль къ образу великаго писателя. Тяжело вздохнетъ 29 января 1887 года вся образованная Россія,—вспоминая о столь преждевременной смерти писателя, въ которомъ въ одномъ русская литература „выросла на цѣлое столѣтіе“... [1]) Приближающійся скорбный день имѣетъ для русскаго общества и еще другое значеніе. Только съ этого дня произведенія великаго поэта сдѣлаются вполнѣ общественнымъ достояніемъ, общественною собственностью,—перейдя изъ рукъ его наслѣдниковъ въ руки всего общества.

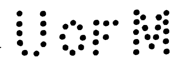
Настоящимъ очеркомъ я имѣю въ виду еще разъ вызвать передъ читателями, въ болѣе или менѣе крупныхъ чертахъ, хорошо знакомый имъ образъ великаго поэта,—напомнить нѣкоторыя страницы его твореній, ихъ значеніе въ общемъ ходѣ нашей литературы, и этимъ самымъ указать, съ исторической точки зрѣнія, литературную и общественную цѣну получаемаго нами нынѣ—наслѣдства...

---

[1]) Застольное слово А. Н. Островскаго на пушкинскомъ праздникѣ. Вѣстн. Евр., 1880, іюль, стр. XIX.

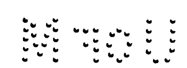
Съ половины и особенно конца XVIII ст., во всѣхъ литературахъ западной Европы начинается чрезвычайно сложное, богатое самыми разнообразными элементами, движенiе. Начинается общая борьба за освобожденiе нацiональныхъ литературъ. Вездѣ и всюду, во всѣхъ литературахъ, совершается общiй Sturm und Drang-Periode, —хотя въ разныхъ литературахъ съ различной степенью быстроты и интенсивности. Трудно въ небольшомъ очеркѣ съ достаточной ясностью охарактеризовать это необычайно широкое наступившее броженiе; мы ограничимся указанiемъ лишь наиболѣе существенныхъ его сторонъ.

Дѣло началось съ борьбы противъ устарѣлыхъ ложно-классическихъ формъ, все еще господствовавшихъ въ литературѣ. Борьба эта рѣзче и сильнѣе всего выразилась въ Германiи, въ дѣятельности Лессинга (1729—1781). Главнѣйшей задачей его поэтической и критической дѣятельности была борьба съ безусловнымъ господствомъ французской литературы, стремленiе прiобрѣсти самостоятельную почву для самобытно-нѣмецкой поэзiи. Лессингъ преимущественно былъ критикомъ; его поэтическiя произведенiя были лишь иллюстрацiями къ его критическимъ статьямъ и изслѣдованiямъ. Указывая, какъ на образецъ, на болѣе близкую къ реальной жизни „мѣщанскую" поэзiю англичанъ, на ихъ Шекспира, на творенiя самихъ древнихъ классическихъ поэтовъ, наконецъ, на самую природу,—Лессингъ объявилъ безпощадную войну бездарному кропанiю многочисленныхъ тогдашнихъ нѣмецкихъ пiитовъ, риторически-напыщенному, условному содержанiю ихъ ложно-классическихъ произведенiй, равно и всей нѣмецкой критикѣ, слишкомъ робкой и безпринципной,— и тѣмъ самымъ положилъ



прочныя теоретическія основы и для новой нѣмецкой поэзіи и для новой критики. Его *Лаокоонъ* (1766) и *Гамбургская Драматургія* (1767—1768) во всей полнотѣ развернули глубокое пониманіе авторомъ задачъ и цѣлей поэтическаго творчества, особенно драматическаго, а также и вообще искусства, придали пониманію послѣдняго небывалую дотолѣ широту, и черезъ это окончательно свели счеты съ ложно-классической французской драмой и мертвыми, формальными правилами французской піитики. Разомъ и навсегда своей геніальной критикой Лессингъ — „вспугнулъ французскій классицизмъ изъ его спокойствія и его обезпеченнаго господства“.

Одновременно съ критикою Лессинга, въ нѣмецкой литературѣ возникаютъ первые опыты истинной поэзіи, художественности. Съ появленіемъ Клопштока (1724—1809), „стало для всѣхъ ясно, что поэзія прежде всего требуетъ геніальнаго дарованія и что ей нельзя научиться съ помощью теоріи“. Это былъ первый истинный поэтъ въ нѣмецкой литературѣ. Его *Мессіада* (1748—1773) и нѣкоторыя изъ *одъ* совершили въ ней рѣшительную реформу въ смыслѣ искренности и силы поэтическаго творчества. Его „небесная“ муза, „серафимскій“ тонъ его поэзіи позднѣе вызвали утрировку, — но въ его собственныхъ рукахъ они были для современниковъ откровеніемъ и встрѣтили общій восторгъ... Чтó сдѣлалъ Клопштокъ для одной области поэзіи, то сдѣлалъ одновременно Виландъ (1733—1813) для другой. Онъ былъ сначала въ числѣ многочисленныхъ подражателей Клопштока, но скоро перешелъ на самостоятельную дорогу и открылъ совершенно новую сферу поэтическому творчеству. Вмѣсто неба óнъ сталъ воспѣвать землю.



Переведя Шекспира (въ 1762 –1766 гг.), онъ сталъ развивать въ многочисленныхъ своихъ романахъ, всякаго рода стихотвореніяхъ и передѣлкахъ свѣтлый, реальный взглядъ на жизнь. Тонъ его поэзіи часто дѣлается фривольнымъ, иногда даже скабрезнымъ, — но вообще здоровая веселость его поэзіи, реальность его картинъ были большой новостью для тогдашней нѣмецкой литературы. Художественное направленіе Клопштока и Виланда поддержано было самимъ Лессингомъ, — предтечею Гёте и Шиллера... Почти одновременно въ англійской литературѣ раздаются пѣсни В. Купера (1731—1800), Роберта Бёрнса (1759—1796), во Франціи Э. Парни (1753—1814), П. Беранже (1780—1859).

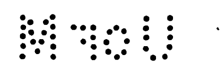
Если Германія, въ лицѣ Лессинга, больше всего способствовала выясненію теоретическихъ представленій объ искусствѣ и въ частности поэтическомъ творчествѣ, о задачахъ и цѣляхъ литературы, то Англія раньше всѣхъ другихъ націй въ Европѣ выступила съ практическимъ осуществленіемъ того же самого. Въ своей критикѣ Лессингъ часто указывалъ, какъ на образецъ, на англійскую „мѣщанскую" драму и англійскій „семейный" романъ. Дѣйствительно, въ англійской литературѣ раньше всѣхъ другихъ европейскихъ литературъ пробудилось стремленіе къ бóльшей жизненной правдѣ, къ бóльшей реальности въ литературныхъ произведеніяхъ. На первыхъ порахъ эта реальность имѣетъ еще видъ „нравственныхъ еженедѣльныхъ изданій", сантиментальныхъ романовъ и „слезныхъ" драмъ, — но это были первые вѣстники будущаго реализма въ литературѣ. Исходя изъ Англіи, быстро разливается по всѣмъ литературамъ широкій потокъ санти-

ментализма Во главѣ направленія стоятъ Аддисонъ (1672—1719), Дефо (1663—1731), Ричардсонъ (1689—1761), Стернъ (1713—1768), Лилло (1693—1739), за ними — Фильдингъ (1707—1754), Смоллетъ (1721—1771), Гольдсмитъ (1728—1774) и лучшій представитель будущаго нравоописательнаго романа — Вальтеръ Скоттъ (1771—1832), „Гомеръ новѣйшей буржуазіи“ [1]).

Дальнѣйшимъ развитіемъ сентиментальнаго направленія европейскихъ литературъ былъ романтизмъ, — главная и наиболѣе широкая волна начавшагося движенія, выступившая въ однихъ литературахъ раньше, въ другихъ позднѣе, но вездѣ бывшая явленіемъ чрезвычайно запутаннымъ и сложнымъ.

---

[1]) Появленіе этого рода романовъ и вообще это стремленіе литературы къ бо́льшей жизненной правдѣ, переселеніе ея изъ міра героевъ и принцевъ въ сферу средняго сословія дѣйствительно весьма краснорѣчиво говорило о возникновеніи буржуазіи и ея усиленіи въ общественной жизни Быстрый ростъ буржуазнаго міра, средняго сословія, въ Англіи особенно замѣчается со временъ революціи 1688 г. Во Франціи «колыбелью» третьяго сословія (tiers-état) былъ періодъ регентства (1715—1723). Существенный характеръ общественной жизни этого времени, замѣчаетъ историкъ,— «можетъ быть вообще выраженъ въ двухъ словахъ: дворянство приходитъ въ упадокъ и одичаніе; буржуазія усиливается и получаетъ невиданное могущество и значеніе». Среднее сословіе почувствовало могущество своего богатства и своего образованія, почувствовало свое государственное, общественное и экономическое значеніе, свою болѣе чистую нравственность—и все громче стало требовать себѣ правъ на существованіе... Выросшая буржуазія потребовала для себя и буржуазной литературы. Съ половины XVIII в. литература «отказывается отъ придворнаго штемпеля, наложеннаго на нее Людовикомъ XIV»—и значительной долей своего содержанія дѣлается «простой и трогательной картиной нравовъ усиливающагося народа, завоевываетъ сюжеты и формы, которые такъ недавно еще были ей совершенно невозможны».



Временемъ наибольшаго господства романтизма было начало нынѣшняго столѣтія, особенно около временъ „священнаго союза",— но первыя нити броженія уходятъ далеко въ предшествовавшую эпоху. Первыми исходными пунктами позднѣйшихъ романтическихъ стремленій были двѣ книги: *La Nouvelle Héloïse* (1761) Руссо,—„зажегшая во всѣхъ сердцахъ стремленіе освободиться отъ неестественности и рабства", и *Вертеръ* (1774) Гёте, въ особенности послѣдняя. Эта книга—„взволновала умы не тысячъ, а милліоновъ людей, внушила цѣлымъ поколѣніямъ полное жизни одушевленіе и страстное желаніе смерти, расположила немалое число людей къ сентиментальности, отчаянію, мечтательной лѣни и самоубійству". „Вертеръ" Гёте—„изображаетъ все, что̀ есть справедливаго въ протестѣ переполненнаго сердца противъ тривіальныхъ и неподвижныхъ правилъ регулированной обыденной жизни, изображаетъ его влеченія къ безконечному и его стремленія къ свободѣ, для которыхъ эта жизнь представляется тюрьмою и всѣ рамки общественнаго строя тюремными стѣнками. Самый главный источникъ несчастія Вертера — „несоразмѣрность между стремленіями сердца и рамками общественной жизни". Общество, по выраженію Вертера, „не даетъ намъ ничего, кромѣ позволенія испещрять разнообразными фигурами и свѣтлыми надеждами тѣ стѣны, среди которыхъ мы живемъ, какъ плѣнники..." Отсюда — страстный протестъ противъ этой жизни, противъ многочисленныхъ общественныхъ приличій, аристократическихъ предразсудковъ, дѣловаго педантства, — неудержимое стремленіе къ первобытности и поэзіи...

Романтическое движеніе было результатомъ — въ связи съ современными общественными явленіями и политическими

событіями—общаго европейскаго возбужденія умовъ, господствовавшаго во все продолженіе XVIII в., возбужденія, охватившаго собою всю жизнь тогдашняго европейскаго человѣка, во всѣхъ ея сферахъ, — политической, общественной, философской, нравственной, религіозной. При своей всеобщности и всеобъемлемости, движеніе заключало въ себѣ самые противорѣчивые элементы. Вся умственная жизнь современнаго человѣка превратилась въ какой-то хаосъ переходной эпохи. Вполнѣ понятно поэтому, что и романтическое движеніе—результатъ эпохи—заключало въ себѣ также цѣлый рядъ непримиримыхъ противорѣчій. Происходитъ общее броженіе идей и понятій, — въ которомъ заключаются и элементы прогресса и элементы реакціи.

Прежде всего мы видимъ какое-то общее недовольство, разочарованіе—съ постояннымъ углубленіемъ внутрь себя. Возникаетъ волна особой, философствующей, рефлексирующей поэзіи. Цѣлый рядъ поэтовъ и писателей превращаются въ мыслителей-философовъ и обращаются къ рѣшенію высшихъ вопросовъ бытія. Героемъ поэтическихъ произведеній является „міровой человѣкъ“ — потомокъ Вертера, но уже въ другихъ періодахъ жизни, въ другихъ стадіяхъ развитія и въ другихъ душевныхъ настроеніяхъ. Ему много пришлось пережить и перечувствовать; сначала онъ былъ Фаустомъ, потомъ Манфредомъ,—Рене; одно время былъ даже Вильгельмомъ Ловеллемъ, Рокеролемъ, даже Люциндой [1]).

[1]) Въ романѣ *Рене* (*René*), равно какъ и въ *Аталь* (*Atata*) и *Начезахъ* (*Les Natchez*) Шатобріанъ (1768—1848) представляетъ впечатлѣнія своей молодости и своихъ странствованій по Америкѣ. Первая часть романа Л. Тика (1773—1855) *Вильгельмъ*



Жизнь его вообще была богата волненіями и метаморфозами... Раньше чѣмъ у другихъ возникши въ Германіи, философствующая, рефлексирующая поэзія быстро обходитъ всѣ литературы Европы.

Помимо философской рефлексіи, самоуглубленія,—общее недовольство всѣмъ и всѣми выражается и въ другихъ формахъ. Раньше другихъ возникаетъ стремленіе къ новымъ свободнымъ идеямъ и понятіямъ, къ новымъ общественнымъ условіямъ, къ свободной философіи, къ свободной поэзіи, выработаннымъ французской философіей XVIII в., общее исканіе чего-то новаго, болѣе свободнаго. Эти „вольнолюбивыя мечты“ занимаютъ очень видное мѣсто въ общемъ броженіи романтической эпохи и сказываются уже въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ Роберта Бёрнса. Общій кругъ, въ которомъ вращается Бёрнсъ, не широкъ. Это— любовь, природа, свобода. Передъ нами стоитъ простой крестьянинъ, самъ пастухъ и земледѣлецъ, и поэзія его не воспроизводитъ ничего, чего бы онъ самъ не пережилъ и не перечувствовалъ. Но при господствующей мирности и веселости, въ его пѣсняхъ иногда звучатъ и совсѣмъ особыя ноты. По временамъ у поэта вырываются горькія жалобы „угнетеннаго и возмущеннаго плебея“, жалобы противъ общества, противъ государства, противъ церкви. Поэту тяжело видѣть „когда бѣднякъ, изнуренный усталостью, затертый и приниженный жизнью, выпрашиваетъ у одного изъ своихъ братьевъ на землѣ позво-

Ловелль появилась въ 1795 г. Около этого же времени былъ написанъ романъ Жана-Поля (I. Рихтера, 1765—1825) *Титанъ* (*Рокероль*). *Люцинда* Фр. Шлегеля (1772—1829) явилась въ 1799 г.



ленія работать",—тяжело видѣть, „какъ сіятельный червякъ отвергаетъ жалкую мольбу, не обращая вниманія ни на плачущую жену, ни на голодныхъ дѣтей, которыя голосятъ тутъ же",—поэту „трудно подъ часъ сдерживать свою злобу, видя, какъ не равномѣрно распредѣлены житейскія блага, какъ трудящіеся люди остаются въ постоянной нуждѣ, а глупцы бѣснуются на грудахъ золота, не имѣя даже возможности прожить его когда нибудь". Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній поэтъ воспѣваетъ „дерево свободы", посаженное на мѣстѣ Бастиліи: „На этомъ деревѣ растетъ странный плодъ, говоритъ поэтъ,—всякій можетъ объяснить тебѣ его свойства, паренёкъ"!—Онъ становитъ человѣка выше животнаго и заставляетъ его цѣнить самого себя, паренёкъ.— Чуть крестьянинъ отвѣдаетъ его хоть крошечку,— сейчасъ станетъ выше барина, паренёкъ"... Послѣ Вольтера, говоритъ Т э н ъ, никто такъ не осмѣивалъ, никто не издѣвался такъ зло надъ религіозными предметами, какъ Бёрнсъ. Героями его поэзіи нерѣдко является — шайка бродягъ, нищій-солдатъ, паяцъ, отпѣтая карманная воровка, кумушка легкаго поведенія, жалкій карликъ, играющій на дудкѣ, странствующій мѣдникъ, и подобные персонажи,— „все это въ лохмотьяхъ, привыкло драть глотку, зайдя въ трактиръ они изъ за малѣйшихъ пустяковъ схватываются въ рукопашную, тузятъ другъ друга, или обнимаются и хохочутъ такъ,—что стекла звенятъ отъ ихъ веселья"... Намѣреваясь повеселиться, они выпоражниваютъ свои котомки, отдаютъ подъ закладъ свои лохмотья... „Къ чорту всѣхъ, кто прикрывается закономъ! кричатъ они. — Свобода, вотъ благословенный пиръ! Училища построены для трусовъ, а церковь въ угоду попамъ... Что такое титулъ? Что толку въ

сокровищахъ?.. За здоровье всѣхъ сумъ, котомокъ и кошелей! За здоровье всей бродячей братіи! За здоровье нашихъ ребятишекъ и кумушекъ!.. Къ чорту всѣхъ, кто прикрывается закономъ!“ и т. д. [1])

Совершенно особое содержаніе въ поэзіи Шелли (1792—1822), полной самой поэтической мечтательности и утопій. „Онъ судилъ объ обществѣ, замѣчаетъ о Шелли историкъ англійской литературы — по угнетенію, которому самъ подвергался, о человѣкѣ, по великодушію, которое сознавалъ въ себѣ,—изъ чего заключалъ, что человѣкъ добръ, а общество дурно, слѣдовательно стоитъ только ниспровергнуть установленный порядокъ, чтобы возстановить на землѣ „рай“... Съ глазами, устремленными на роскошныя видѣнія, которыми его воображеніе населяло пространство, онъ проходилъ земной путь, не глядя подъ ноги и безпрестанно спотыкаясь о камни. У Шелли не было знанія людей... Кажется, ни чей умъ не парилъ мысленно выше и дальше отъ вещей міра сего“... За исключеніемъ *Беатриче Ченчи*,—„его міръ не имѣетъ ничего общаго съ нашимъ. Законы жизни у него или прекращаются или измѣняются. Тутъ приходится висѣть между небомъ и землею,—среди абстрактовъ, фантазій и символистики... Созданныя имъ лица парятъ гдѣ-то въ пространствѣ“... Недовольный человѣческимъ обществомъ—поэтъ съ тѣмъ бóльшей любовью обращается къ природѣ.

Но если у однихъ общее недовольство современностью приводило къ ожесточенному протесту, выливалось въ страстномъ исканіи свободы и т. д.,—то у другихъ это недоволь-

---

[1]) Тэнъ, Развитіе политической и гражданской свободы въ Англіи въ связи съ развитіемъ литературы, II, Спб., 1871, стр. 403—407 sqq.



ство выражалось еще болѣе сильнымъ стремленіемъ къ старинѣ, въ стремленіи въ давнопрошедшую даль среднихъ вѣковъ, въ давноисчезнувшій міръ средневѣковыхъ сказаній и вѣрованій, и затѣмъ, далѣе,—въ стремленіяхъ къ своей родной старинѣ, въ стремленіяхъ воскресить національныя преданія своего роднаго прошедшаго. Этотъ другой рядъ писателей и поэтовъ, также недовольныхъ окружавшею дѣйствительностью, убѣгая отъ нея,—идеаловъ для себя искали назади, въ прошломъ, углублялись въ изученіе и реставрированіе историческаго прошлаго, преимущественно, болѣе близкаго и роднаго, средневѣковаго прошлаго. Большинство поэтовъ и писателей дѣлаются романтиками, съ неподдѣльной теплотою чувства устремляются въ романтическую средневѣковую даль, въ страну средневѣковыхъ рыцарей и балладъ. „Всѣмъ хотѣлось мечтаній, опьяненія и воодушевленія, всѣ хотѣли снова вѣрить какъ дѣти, ощущать сумасбродство рыцаря и экстазы монаха, всѣ хотѣли поэтически нейстовствовать, мелодически мечтать, всѣ хотѣли окунаться въ море луннаго свѣта и мистически внимать паренію духовъ на млечномъ пути“.. Поэзія переселяется въ средніе вѣка, въ далекую даль роднаго прошлаго, хочетъ жить прежнею, уже умершею жизнью. Возникаетъ очарованный міръ романтики, романтической поэзіи, быстро охватившей собою всѣ литературы Европы и съ особыми крайностями развившейся въ Германіи... Лучшимъ отвѣтомъ на эти историческія потребности и стремленія эпохи были историческіе романы Вальтера Скотта,—впервые создавшаго въ строгомъ смыслѣ историческій романъ и до сихъ поръ остающагося въ этой сферѣ образцомъ. Нѣсколько позднѣе на ту же дорогу выступилъ Викторъ Гюго.

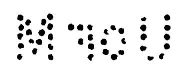


Мы сейчасъ замѣтили, что стремленіе къ старинѣ, въ давно изчезнувшій міръ среднихъ вѣковъ соединялось чаще всего съ стремленіями къ родной старинѣ, къ народнымъ, національнымъ преданіямъ прошедшаго. Это было наиболѣе важной и плодотворной стороной происходившаго движенія. Романтическое обращеніе къ средневѣковому прошлому, къ народной старинѣ—дало начало первымъ стремленіямъ къ народности. Съ теоретической стороны, стремленія эти были многимъ обязаны еще Лессингу и особенно Гердеру (1744—1803). Критика Лессинга „дала могущественный толчекъ развитію нѣмецкаго духа; она раскрыла передъ нимъ его собственныя сокровища, зародила въ немъ сознаніе своей силы и достоинства“; главнѣйшею цѣлью его критики было „отучить нѣмцевъ отъ рабскаго подражанія иностранцамъ и заставить ихъ полюбить свое родное, нѣмецкое“. Что касается Гердера, то это былъ вообще наиболѣе могущественный представитель совершавшагося въ нѣмецкой литературѣ Sturm und Drang-Periode'а. Разнообразныя и многочисленныя сочиненія Гердера имѣли какое-то общее возбуждающее значеніе, были полны богатствомъ возбудительной энергіи. Онъ говорилъ о возвратѣ къ природѣ, о простотѣ чувствъ, о правахъ на существованіе каждой народности, каждой національности; благодаря ему, стало общимъ достояніемъ понятіе народной и національной поэзіи, — долженствующей быть, доказывалъ онъ, основнымъ и господствующимъ элементомъ искусства. Гердеръ однимъ ихъ первыхъ обратился и къ непосредственному изученію народной поэзіи: его извѣстные *Голоса народовъ въ пѣсняхъ* вышли въ 1778—1779 гг.... Въ смыслѣ общаго

возстановленія, оживленія забытой народной старины, были весьма важными и такія явленія, - какъ сборникъ старыхъ англійскихъ балладъ и пѣсенъ Томаса Перси (около 1765 г.) или обращеніе за вдохновеніемъ къ древне-кельтскимъ и ирскимъ народнымъ пѣснямъ Макферсона (1758—1796), въ его знаменитыхъ „оссіановыхъ пѣсняхъ".

Стремленія къ національности и народности особенно усиливаются позднѣе, во второмъ періодѣ романтическаго движенія, послѣ освободительныхъ войнъ съ Наполеономъ. Въ этомъ заключалась одна изъ величайшихъ историческихъ заслугъ „наслѣдника революціи". Наполеонъ вызвалъ „у цѣлыхъ народовъ тѣ патріотическія стремленія, кои были заглушены въ предшествовавшіе вѣка и коими они живутъ по настоящее время, — разбудилъ дремавшіе инстинкты къ политической самостоятельности въ милліонахъ забитыхъ, порабощенныхъ, лишенныхъ отечества людей, съ которыми давно обращались какъ бы съ неодушевленными предметами". Правда, онъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ нерѣшительно, еще менѣе сознательно,—но значеніе результатовъ нисколько не уменьшалось отъ этого. Выраженіе въ литературѣ, въ совершавшемся романтическомъ движеніи, этихъ стремленій къ народности, къ національности—было, какъ мы замѣтили, наиболѣе могущественною и плодотворною его стороною. Среди многихъ идей, вызванныхъ въ литературѣ романтизмомъ, среди многихъ героевъ, имъ созданныхъ, онъ вызвалъ и совершенно „новую идею"—національность, совершенно „новаго литературнаго героя"—народъ...

Свобода литературныхъ формъ, свобода поэтическаго творчества, обращеніе къ исторіи, народнымъ преданіямъ, элементы „народности",—все это были лучшія, наиболѣе



цѣнныя стороны происходившаго литературнаго движенія. Но рядомъ съ ними были и другія. Рядомъ съ отмѣченными элементами и особенно вслѣдъ за ними,—шли уродливыя уклоненія въ сторону, тѣ или другія крайности, часто столь широкія и сильныя, что превращали и лучшія стороны движенія въ какія-то „болѣзненныя“ явленія человѣческой мысли. Припомнимъ эту романтическую экзальтацію, эти романтическія томленія по голубомъ цвѣткѣ, это возведеніе поэтической лѣни, бездѣйствія въ идеалъ, въ религію, - это полное, непонятное для настоящаго времени, пренебреженіе къ дѣйствительности, это артистическое воззрѣніе на искуство,—или, напр., этотъ кружокъ праздныхъ мечтателей и лѣнивцевъ, скромно окрестившихъ себя именемъ геніевъ, начавшихъ съ поклоненія Шекспиру, съ стремленій къ его естественности и простотѣ, и быстро перешедшихъ въ дикую напыщенность слога, причудливо - патетическій, полный риторики тонъ, и въ еще бóльшую напыщенность и риторичность самой мысли и т. д. И все это, повторимъ, не было какими либо частными, мимолетными явленіями; напротивъ, уродливыя уклоненія въ Германіи напр. заняли даже весь фронтъ движенія. Какъ всегда и вездѣ бываетъ,—и въ этомъ широкомъ и бурномъ потокѣ новыхъ идей и стремленій чаще всего было больше заблужденій, чѣмъ истины.

Широкому литературному движенію, начавшемуся въ западныхъ литературахъ съ половины XVIII вѣка,—въ нашей литературѣ соотвѣтствовало подобное же, можетъ быть,

не столь глубокое, но не менѣе запутанное и сложное движеніе, возникшее съ конца XVIII в. и продолжавшееся въ различныхъ фазисахъ до 30-хъ и даже отчасти 40-хъ гг. текущаго столѣтія. Какъ и въ каждой изъ другихъ европейскихъ литературъ,—и въ нашей литературѣ это движеніе не было какимъ либо подражаніемъ или заимствованіемъ: общность явленій указывала лишь на общность потребностей. Всюду, во всѣхъ литературахъ, хотя въ различныхъ видахъ и формахъ, возникали одни и тѣже явленія,— обращеніе къ природѣ и естественности чувства, требованіе отъ поэзіи и вообще литературы бóльшей жизненной правды, бóльшей поэтической искренности и реальности, стремленіе къ художественности, независимо отъ литературныхъ формъ, — даже пренебреженіе, открытая борьба противъ этихъ, такъ долго обязательныхъ, формъ, — съ другой стороны, недовольство общественными условіями, недовольство и результатами, полученными литературой „просвѣщенія“, и, позднѣе, результатами совершившихся во Франціи политическихъ переворотовъ, общее разочарованіе и самоуглубленіе, — обращеніе, вслѣдствіе недовольства настоящимъ, къ историческому прошлому, къ средневѣковой старинѣ,—къ преданіямъ народнаго прошлаго, къ національности, народности... Шаблонность предшествовавшей литературы всѣмъ надоѣла; всѣмъ хотѣлось чего нибудь простаго, чего нибудь своего, національнаго. Весь умственный горизонтъ Европы, всѣ европейскія литературы одинаково охвачены были одной общей широкой волной обновленія.

Съ конца XVIII в. и въ нашей литературѣ наступаетъ переходная эпоха, — возникаетъ борьба стараго съ новымъ, или, выражаясь старыми терминами, борьба ро-

мантизма съ классицизмомъ. Переходность эпохи обозначается именами Карамзина, Дмитріева, Жуковскаго, Батюшкова, Крылова — и кончается лишь съ именемъ Пушкина. Поэтическая дѣятельность Пушкина явилась наиболѣе полнымъ выраженіемъ литературныхъ стремленій эпохи.

Какъ и въ каждой изъ другихъ европейскихъ литературъ, — и въ нашей движеніе являлось въ особыхъ, своеобразныхъ формахъ, съ мѣстными чертами и особенностями. Изъ политическихъ событій конца XVIII и начала XIX вв., для нашей литературы особенно важной была, въ смыслѣ общаго возбужденія, эпоха борьбы съ Наполеономъ и непосредственное знакомство русскихъ съ западомъ. Русская молодежь, пережившая это время, побывавшая на западѣ,— „не могла не быть поражена тою скудостью мысли, тѣмъ нищенствомъ содержанія, которыя господствовали въ тогдашней русской печати".

Когда въ русскихъ журналахъ стали появляться первыя стихотворенія Пушкина, литература наша представляла какой-то неопредѣленный, смѣшанный характеръ. Это всегда бываетъ съ эпохами переходными. Рядомъ съ именами Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Крылова — шелъ длинный рядъ поэтовъ и писателей, которые еще продолжали „творить" напыщенныя оды, эпическія поэмы, героическія трагедіи [1]). Реформы Карамзина

---

[1]) Такъ въ 1807 г. кн. Шихматовъ сочиняетъ лирическую поэму въ 3 пѣсняхъ: *Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ или Спасенная Россія*, въ 1810 г. пишетъ эпическую поэму *Петръ Великій*, въ 8 пѣсняхъ. Въ то же время другой піитъ, Грузинцевъ, пишетъ *Петріаду* (1812), въ 10 пѣсняхъ, а черезъ годъ

въ слогѣ вызвали цѣлую бумажную войну. Имя творца *Россіяды* было окружено еще общимъ благоговѣніемъ. Правда, въ 1815 году, въ одной журнальной статьѣ, одинъ молодой авторъ (П. М. Строевъ, въ то время студентъ Московскаго университета) горячо доказывалъ, что „Россіяда" не достойна тѣхъ похвалъ, коими ее до сихъ поръ осыпали", и что вообще въ словесности весьма часто „имена бываютъ болѣе безсмертны, чѣмъ творенія", — но въ томъ же году, въ другомъ журналѣ, извѣстнымъ въ то время критикомъ и ученымъ (А. Ѳ. Мерзляковымъ, проф. Моск. унив.) съ новыми соображеніями излагалось въ сущности прежнее мнѣніе о величіи и безсмертности „Россіяды"; въ концѣ изслѣдованія, ученый авторъ даже сравниваетъ эту поэму съ храмомъ св. Петра и патетически восклицаетъ: „Какъ громада неподвижная и въ буряхъ времени и въ буряхъ мнѣній,— стоитъ „Россіяда", огражденная неизмѣннымъ своимъ величіемъ..." Вообще поклоненіе французскому классицизму было еще полное, и на это справедливо жаловались нѣкоторые изъ тогдашнихъ нашихъ писателей. „Исключительная любовь къ французской словесности, пишетъ Батюшковъ въ одномъ письмѣ въ 1814 г., неизлѣчима: она выдержала всевозможныя испытанія и времени и политическихъ обстоятельствъ.." Исключительное господство и въ литературѣ и обществѣ ложно-классическихъ теорій поддерживалось и наукой: въ лекціяхъ университетскихъ профессо-

---

дарить читателямъ поэму *Спасенная и побѣдоносная Россія* (1813), — наполненную восклицаніями: «я зрю», «отверсты очи мнѣ душевны», «я вижу таинства временъ» и т. п. Въ одномъ изъ писемъ Пушкинъ вспоминаетъ о Шихматовѣ,— какъ о «бездушномъ, холодномъ, надутомъ, скучномъ пустомелѣ...» *Сочин.*, VII, 281.

ровъ (собственно Московскаго университета) по прежнему развивалось и доказывалось важное значеніе французскихъ классическихъ правилъ и обязательность ихъ для поэтическихъ произведеній. Ослѣпленіе укоренившимися теоріями было на столько сильное, что за ними не замѣчали, или не хотѣли замѣчать новыхъ явленій въ литературѣ, или старались взглянуть на нихъ по своему, съ точки зрѣнія тѣхъ же теорій. Тотъ же Мерзляковъ, въ одной изъ журнальныхъ своихъ статей, въ 1817 году, доказывалъ, что успѣхъ комической оперы Аблесимова *Мельникъ* зависѣлъ не отъ того, что она, — какъ думали тогда нѣкоторые, — „сочинена въ русскихъ правахъ", а долженъ быть объясняемъ исключительно тѣмъ обстоятельствомъ, что опера составлена съ строгимъ сохраненіемъ всѣхъ законовъ классической драмы, что она вполнѣ оправдываетъ собою эстетическіе законы Аристотеля, наставленія Горація, Буало, и вообще всѣ правила науки о вкусѣ...

Уже въ самомъ первомъ своемъ стихотвореніи, напечатанномъ въ Вѣстникѣ Европы 1814 года въ іюльской книжкѣ, — пятнадцатилѣтній авторъ, въ то время еще лицеистъ, въ довольно яркой картинѣ рисуетъ общую бездарность большинства тогдашнихъ піитовъ и преобладающій безсодержательный характеръ современной литературы. Обращаясь къ одному изъ такихъ піитовъ, пятнадцатилѣтній поэтъ говоритъ:

Аристъ! и ты въ толпѣ служителей Парнаса!
Ты хочешь осѣдлать упрямаго Пегаса;
За лаврами спѣшишь опасною стезей,
И съ строгой критикой вступаешь смѣло въ бой!
Аристъ, повѣрь ты мнѣ, оставь перо, чернилы,
Забудь ручьи, лѣса, унылыя могилы,
Въ холодныхъ пѣсенкахъ любовью не пылай;
Чтобъ не слетѣть съ горы, скорѣе внизъ ступай!



Довольно безъ тебя поэтовъ есть и будетъ;
Ихъ напечатаютъ—и цѣлый свѣтъ забудетъ.
Быть можетъ и теперь, отъ шума удалясь
И съ глупой музою на вѣкъ соединясь,
Подъ сѣнью мирною Минервиной эгиды
Сокрытъ другой отецъ второй Телемахиды.
Страшися участи безсмысленныхъ пѣвцовъ,
Насъ убивающихъ громадою стиховъ!
Потомковъ позднихъ дань поэтамъ справедлива:
На Пиндѣ лавры есть, но есть тамъ и крапива.
Страшись безславія! Что, если Аполлонъ
Услышавъ, что и ты полѣзъ на Геликонъ,
Съ презрѣньемъ покачавъ кудрявой головою,
Твой геній наградитъ — спасительной лозою....
Аристъ! не тотъ поэтъ, кто риѳмы плесть умѣетъ,
И перьями скрипя, бумаги не жалѣетъ,
Хорошіе стихи не такъ легко писать,
Какъ Витгенштеину французовъ побѣждать.
Межъ тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ,
Пѣвцы безсмертные, и честь, и слава россовъ,
Питаютъ здравый умъ и вмѣстѣ учатъ насъ,
Сколь много гибнетъ книгъ, на свѣтъ едва родясь!
Творенья громкія Риѳматова, Графова,
Съ тяжелымъ Бибрусомъ гніютъ у Глазунова;
Никто не вспомнитъ ихъ, не станетъ вздоръ читать,
И Фебова на нихъ проклятія печать.

Указывая на общую страсть къ стихамъ, — поэтъ-сатирикъ съ сожалѣніемъ замѣчаетъ:

«Счастливъ, кто ко стихамъ не чувствуя охоты,
Проводитъ тихій вѣкъ безъ горя, безъ заботы,—
Своими одами журналовъ не тягчитъ,
И надъ экспромтами недѣли не сидитъ...[1])

---

[1]) *Сочин.*, I, 9—12 (*Къ другу стихотворцу*). Указывая на тѣхъ же современныхъ ему русскихъ піитовъ, — юноша-поэтъ въ другомъ своемъ, также лицейскомъ, стихотвореніи замѣчаетъ:

Представительницей продолжавшаго все еще преобладать въ нашей литературѣ ложноклассическаго направленія была въ то время у насъ „Бесѣда любителей русскаго слова", основанная въ 1811 году Шишковымъ и Державинымъ и существовавшая до 1816 года. Пушкинъ уже въ лицеѣ является ярымъ противникомъ „Бесѣды". Въ 1816 г., въ лицейскомъ письмѣ къ Вяземскому, Пушкинъ, называя „Бесѣду" любителей—„Бесѣдою губителей россійскаго слова", — шутя пишетъ ему:

Блаженъ, кто съ добрыми друзьями
Сидитъ до ночи за столомъ
И надъ словенскими глупцами
Смѣется русскими стихами...» [1])

Въ другомъ своемъ лицейскомъ стихотвореніи, говоря, что онъ рѣшился выбрать себѣ литературное поприще и обращаясь за благословеніемъ къ Жуковскому, молодой поэтъ

Не думай, цензоръ мой угрюмый,
Что лѣнью жертвуя стихамъ,
Объятый стихотворной думой,
Встаю.... бѣснуюсь по ночамъ;
Что засвѣтивъ свою лампаду,
Едва дыша, нахмуря взоръ,
За вѣрный столъ кряхтя засяду,
Сижу, сижу три ночи сряду
И высижу—трехстопный вздоръ...
Такъ пишетъ (молвить не въ укоръ)
Конюшій дряхлаго Пегаса
Свистовъ, Хлыстовъ или Графовъ,
Служитель старенькій Парнаса,
Родитель старенькихъ стиховъ,
И одъ не слишкомъ громозвучныхъ,
И сказочекъ довольно скучныхъ!...
(*Моему Аристарху*, 1817).

[1]) *Сочин.*, VII, 2. Сочиненія Пушкина мы цитируемъ по изданію Анскаго, въ 7 томахъ, Москва, 1882 г.

предчувствуетъ нападки на себя со стороны „дружинъ" Бесѣды, — но смѣло заявляетъ:

Что нужды? Смѣло въ даль дорогою прямою:
Ученью руку давъ, поддержанный тобою,
Ихъ злобы не страшусь; мнѣ твердый Карамзинъ,
Мнѣ ты примѣръ! Что крикъ безумныхъ сихъ дружинъ?
Пускай бесѣдуютъ отверженные Феба:
Имъ прозы, ни стиховъ не посланъ даръ отъ неба;
Ихъ слава—имъ же стыдъ, творенья—смѣхъ уму,
И въ тьмѣ возникшіе низвергнутся во тьму [1]...

И въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ Пушкинъ не рѣдко подсмѣивался надъ правилами ложноклассическихъ теорій. Такъ въ I главѣ *Евгенія Онѣгина* поэтъ шутя обѣщаетъ написать „поэму пѣсенъ въ двадцать пять"; въ концѣ VII главы того же романа онъ пародируетъ приступы эпическихъ поэмъ:

. . . Здѣсь съ побѣдою поздравимъ
Татьяну милую мою,
И въ сторону свой путь направимъ,
Чтобъ не забыть, о комъ пою....
Да кстати здѣсь о томъ два слова:
«Пою пріятеля младова
И множество его причудъ
Благослови мой долгій трудъ,
О ты, эпическая муза!
И вѣрный посохъ мнѣ вручивъ,
Не дай блуждать мнѣ вкось и вкривъ».
Довольно. Съ плечь долой обуза!
Я классицизму отдалъ честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

Въ очеркѣ *Домикъ въ Коломнѣ* поэтъ подсмѣивается надъ александрійскимъ стихомъ, излюбленнымъ

[1]) *Сочин*, I, 171 (*Къ Жуковскому*, 1817 г.).

стихомъ „пудреной піитики", и тутъ же указываетъ на столкновеніе двухъ литературныхъ теорій, прежней и новой: стихъ этотъ, говоритъ поэтъ —

выњянченъ былъ мамкою не дурой:
За нимъ смотрѣлъ степенный Буало,
Шагалъ онъ чинно, стянутъ былъ цезурой;
Но пудреной піитикѣ на зло
Растрепанъ онъ свободною цензурой.
Ученіе не впрокъ ему пошло:
Hugo съ товарищи, друзья натуры,
Его гулять пустили безъ цезуры...
О, чтобъ сказалъ поэтъ-законодатель,
Гроза несчастныхъ мелкихъ риѳмачей!
И ты, Расинъ, безсмертный подражатель,
Пѣвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей!
И ты, Вольтеръ, философъ и ругатель,
И ты, Делиль, парнасскій муравей,
Чтобъ вы сказали, сей соблазнъ увидя?
Нашъ вѣкъ обидѣлъ васъ, вашъ стихъ обидя! [1])

Поэтъ смѣется надъ требованіями современными критиками торжественности въ пѣснопѣніи, возвышенныхъ предметовъ для литературныхъ сюжетовъ, — „героевъ" двора, знати, высшаго общества:

Какой вы строгій литераторъ!

восклицаетъ поэтъ:

Вы говорите, критикъ мой,
Что ужъ коллежскій регистраторъ
Никакъ не долженъ быть герой,
Что выборъ мой всегда ничтоженъ,
Что въ немъ я страхъ неостороженъ,
Что долженъ брать себѣ поэтъ
Всегда возвышенный предметъ,
Что въ спискахъ цѣлаго Парнаса
Героя нѣтъ такого класса....

---

[1]) *Сочин.*, II, 284—285.

И это не было одной шуткой. Отожествляя торжественность съ вдохновеніемъ, — сторонники господствовавшихъ литературныхъ традицій были крайне недовольны самой формой Пушкинской поэзіи, разлитой въ ней веселостью и реальностью содержанія. Многіе изъ современныхъ критиковъ были недовольны легкимъ, веселымъ сюжетомъ, напр. Евгенія Онѣгина. Пушкину приходилось серьезно защищаться и серьезно говорить, напр., слѣдующее: „Ужели хотятъ изгнать все легкое и веселое изъ области поэзіи? Куда же дѣнутся сатиры и комедіи? Слѣдственно должно будетъ уничтожить и Orlando furioso, и Гудибраза, и Pucelle, и Веръ-Вера, и Рейнеке-Фуксъ и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова и проч. и проч. Это немного строго...“ [1])

На господствующее пристрастіе въ современной литературѣ къ французскимъ образцамъ Пушкинъ иногда указывалъ и въ своихъ позднѣйшихъ критическихъ статьяхъ и замѣткахъ. Онъ видѣлъ въ этомъ главную причину бѣдности нашей литературы. Ему кажется „довольно страннымъ что младенческая наша словесность, ни въ какомъ родѣ не представляющая никакихъ образцовъ, уже успѣла не многими опытами притупить вкусъ читающей публикѣ“—и продолжаетъ: „французская словесность, всѣмъ намъ съ младенчества и такъ коротко знакомая, вѣроятно, причиною сего явленія“. Онъ съ сожалѣніемъ замѣчаетъ, что „воспитанные подъ вліяніемъ французской критики, русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою, и не охотно смотрятъ на все, что не подходитъ подъ ея законы...“

---

[1]) *Сочин.*, VII, 168—169.

Во многихъ современныхъ произведеніяхъ поэтъ видитъ одно —„жеманство ложноклассицизма французскаго...“ Общее пристрастіе къ укоренившимся правиламъ и формамъ вызываетъ у него даже безнадежное замѣчаніе: „нововведенія опасны и, кажется, не нужны...“ [1])

Съ представителями Бесѣды и вообще со всею старою литературною школою Пушкинъ расходился самымъ взглядомъ на сущность и задачи литературы. Мы позволимъ себѣ съ нѣкоторой подробностью остановиться на этихъ литературныхъ мнѣніяхъ нашего поэта; ихъ мало касались раньше. Взгляды Пушкина въ этой сферѣ были совершенно другіе, чѣмъ взгляды „пудреной піитики“, — продолжавшей еще привлекать литературные вкусы. „Пѣснопѣвческое“ направленіе продолжало еще оставаться довольно сильнымъ. Кто бы что ни писалъ, — онъ пѣлъ, а не писалъ. Нѣкоторыя изъ страницъ *Записокъ* И. И. Дмитріева, — гдѣ онъ описываетъ „лучшій свой піитическій годъ“, хорошо знакомятъ насъ, какъ замѣчено было, съ тѣмъ узкимъ, ограниченнымъ горизонтомъ, котораго было совершенно достаточно, чтобы вдохновить современнаго сентиментальнаго поэта и дать ему возможность „запастись матеріалами“ для будущихъ его произведеній; одна недѣля пути могла обогатить такого поэта „запасомъ идей и картинъ по крайней мѣрѣ на полгода...“ Содержаніе поэзіи было по преимуществу идиллическое. Заботились только о формѣ. Говоря о первомъ періодѣ своего стихотворства, Дмитріевъ замѣчаетъ: „Вся моя забота (тогда) была только о томъ, чтобъ стихи мои были менѣе шероховаты, чѣмъ у многихъ. Одну

---

[1]) *Сочин.*, VII, 273—275.

только плавность стиха и богатую риѳму я считалъ красотой и совершенствомъ поэзіи...“ Основнымъ началомъ творчества, поэзіи, по правиламъ ложноклассической теоріи, считался безотчетный восторгъ, которымъ внезапно плѣняется умъ,—и который чаще всего на помощь призывалъ риторику....

На поэтическое творчество Пушкинъ смотрѣлъ иначе. На мѣсто восторга онъ ставитъ сознательный, спокойный трудъ, соединенный съ вдохновеніемъ, столь же сознательнымъ и спокойнымъ; трудъ является необходимымъ условіемъ истинно великаго. „Вдохновеніе, писалъ Пушкинъ, есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи. Восторгъ исключаетъ спокойствіе, необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго“ [1]). Въ одномъ мѣстѣ уже было указано на близость нашего поэта, въ этомъ опредѣленіи поэтическаго вдохновенія, со взглядами В. Гумбольдта, въ его *Эстетическихъ опытахъ*. Въ словахъ Чарскаго, обращенныхъ къ импровизатору (въ *Египетскихъ ночахъ*) Пушкинъ съ чрезвычайной ясностью опредѣляетъ послѣдовательность процес-

[1]) *Сочин.*, V, 16—17.

са поэтическаго творчества. „Какъ! восклицаетъ Чарскій: чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, какъ будто вы съ нею носились, лелѣяли, развивали ее безпрестанно? И такъ для васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія, ни этого безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенію?...“ [1]) „Трудъ“ и „вдохновеніе“ были двумя главными и постоянными факторами поэтической дѣятельности Пушкина. „Тихій трудъ“, „жажда размышленій“, „вниманіе долгихъ думъ“, - вотъ чѣмъ питался его „своенравный геній“, и вотъ для чего поэтъ всю жизнь свою стремился „въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ...“ [2]) Поэзія должна „питать здравый умъ“, и ближайшимъ союзникомъ музъ долженъ быть разумъ:

Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!—

восклицаетъ поэтъ, и восклицаніе это, какъ справедливо замѣчено, имѣло въ устахъ Пушкина особый, глубокій смыслъ. По единогласному свидѣтельству людей, очень близко знавшихъ поэта, — за исключеніемъ нѣсколькихъ первыхъ лѣтъ его жизни, проведенныхъ имъ совершенно безплодно и о которыхъ онъ съ такимъ раскаяніемъ вспоминалъ послѣ [3]) —никто такъ не трудился надъ своимъ образованіемъ, какъ Пушкинъ. Понятно поэтому его сожалѣніе, что — мало у насъ писателей, которые „учатся“; бо́льшая часть только „разучивается...“ [4])

---

[1]) *Сочин.*, IV, 388. [2]) *Сочин.*, I, 341. [3]) Напр.,— *Сочин.*, II, 164. [4]) *Сочин.*, VII, 177.

Разность литературныхъ взглядовъ Пушкина съ взглядами большинства тогдашнихъ нашихъ писателей и вообще съ господствовавшими литературными вкусами лучше всего обнаруживается въ слѣдующихъ строкахъ его къ Вяземскому. По поводу критической статьи послѣдняго о Дмитріевѣ Пушкинъ укоряетъ его въ пристрастіи, требуетъ отъ его критики бо́льшей основательности и серьезности, и здѣсь же бросаетъ вѣрный взглядъ на Крылова: „*Жизни Дмитріева* (статьи Вяземскаго) еще не видалъ, пишетъ Пушкинъ: но, милый, грѣхъ тебѣ унижать нашего К р ы л о в а. Твое мнѣніе должно быть закономъ въ нашей словесности, а ты по непростительному пристрастію судишь вопреки своей совѣсти и покровительствуешь чортъ знаетъ кому. И что такое Д м и т р і е в ъ? Всѣ его басни не стоятъ одной хорошей басни Крылова; всѣ его сатиры—одного изъ твоихъ посланій, а все прочее — перваго стихотворенія Жуковскаго. Ты его когда то назвалъ le poete de notre civilisation. Быть такъ, хороша наша civilisation!..“ [1]) Въ черновомъ наброскѣ этого письма прибавлено: „По мнѣ, Дмитріевъ ниже Н е л е д и н с к а г о и стократъ ниже К а р а м з и н а. Сказки его написаны въ дурномъ тонѣ, холодны и растянуты, а *Ермакъ* такая дрянь, что нѣтъ мочи.... Грустно мнѣ видѣть, что все у насъ клонится Богъ знаетъ куда! Ты одинъ бы могъ прикрикнуть налѣво и направо, п о р а с т р я с т и с т а р ы я р е п у т а ц і и, приструнить новыя и показать истину,—а ты покровительствуешь старому вралю...“ [2]) Въ слѣдующемъ письмѣ, уже прочитавши статью, Пушкинъ пишетъ: „Недавно прочелъ я и *Жизнь Дмитріева*. Все, что

---

[1]) *Сочин.*, VII, 15. [2]) *Сочин.*, VII, 16, примѣч.

въ ней разсужденіе — прекрасно. Но эта статья — tour de force et affaire de partie"... Твоимъ перомъ, замѣчаетъ онъ ему въ новомъ письмѣ, водятъ и вкусъ и пристрастіе дружбы..." [1])

„Я не принадлежу къ нашимъ писателямъ XVIII вѣка: я пишу для себя, а печатаю для денегъ, а ничуть не для улыбки прекраснаго пола" [2]). Въ этихъ шутливыхъ словахъ схвачено существенное различіе въ литературныхъ взглядахъ двухъ столкнувшихся теперь литературныхъ школъ. Поэтъ смотритъ на свою поэтическую дѣятельность не какъ на забаву, а какъ на серьезное дѣло [3]).

Поэтъ требуетъ для писателя полной свободы формъ. „Въ литературѣ я скептикъ (чтобъ не сказать хуже), — пишетъ Пушкинъ въ одномъ своемъ письмѣ: всѣ ея секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суевѣрно

---

[1]) *Сочин.*, VII, 16. 28. [2]) *Сочин.*, VII, 14.

[3]) Вотъ почему, въ противоположность тѣмъ многочисленнымъ піитамъ, для которыхъ каждый, напечатанный ими, листъ «быть кажется святымъ»,— Пушкинъ многія изъ своихъ напечатанныхъ стихотвореній считаетъ «дрянью», »слишкомъ незрѣлыми», «недостойными для русской публики». Онъ сожалѣетъ, что ему иногда случалось «забалтываться стихами». *Сочин.*, VII, 116. 153. 164. Отсюда—и его чисто практическій взглядъ на свое авторство. «Ради Бога не думайте, чтобъ я смотрѣлъ на стихотворство съ дѣтскимъ тщеславіемъ риѳмача или какъ на отдохновеніе чувствительнаго человѣка; оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мнѣ пропитаніе и домашнюю независимость.... Стихи, разъ мною написанные, ужъ кажутся мнѣ товаромъ, по столько-то за штуку. *Сочин.*, VII, 188. 190. «Я пѣлъ, иронически замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—какъ булочникъ печетъ, портной шьетъ, лѣкарь моритъ—за деньги, за деньги, за деньги! Таковъ я въ наготѣ моего цинизма...» *Сочин.*, VII, 95. Ср. ib., VII, 117.

порабощать литературную совѣсть? Зачѣмъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ въ словесности своего народа, какъ онъ повинуется законамъ своего языка?..“ [1])

„Правдоподобіе положеній и истина разговора — вотъ настоящіе законы трагедіи, пишетъ Пушкинъ изъ Михайловскаго въ 1825 г. Я не читалъ ни Кальдерона, ни Веги, но что за человѣкъ Шекспиръ! Не могу прійти въ себя! Какъ ничтоженъ передъ нимъ Байронъ-трагикъ, этотъ Байронъ, всего на всего постигшій только одинъ характеръ... Байронъ раздѣлилъ между своими героями тѣ и другія черты собственнаго характера: одному далъ свою гордость, другому свою ненависть, третьему свою меланхолію и проч., и такимъ то образомъ изъ одного характера полнаго, мрачнаго и энергичнаго — создалъ множество характеровъ ничтожныхъ. Это вовсе ужъ не трагедія...“ И далѣе указываетъ существенный недостатокъ ложноклассическихъ трагедій: „Есть и еще заблужденіе: задумавъ какой нибудь характеръ, стараются высказать его даже въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ... Заговорщикъ говоритъ „дайте мнѣ пить“—какъ заговорщикъ, а это смѣшно. Это однообразіе, тупость лаконизма, непрерывная ярость — развѣ это естественно? Отсюда и неловкость и робость разговора. Читайте Шекспира. Нисколько не боясь скомпрометировать свое дѣйствующее лицо, онъ заставляетъ его разговаривать съ полной непринужденностью жизни, ибо увѣренъ, что въ свое время и въ своемъ мѣстѣ оно найдетъ языкъ, соотвѣтствующій его характеру...“ [2])

[1]) *Сочин.*, VII, 274.

[2]) *Сочин.*, VII, 272—273. Къ этому предмету Пушкинъ возвращался не разъ и послѣ,—см. напр. VII, 278—280 и др.

Отъ поэтовъ и писателей, берущихся за историческіе сюжеты, поэтъ требуетъ прежде всего „исторической правды“. Пушкинъ восхищается Вальтеръ Скоттомъ, но недоволенъ его неумѣлыми подражателями. „Вальтеръ Скоттъ, замѣчаетъ онъ, увлекъ за собою цѣлую толпу подражателей. Но какъ всѣ они далеки отъ шотландскаго чародѣя! Подобно ученику Агрипины, они, вызвавъ демона старины, не умѣли имъ управлять и сдѣлались жертвами своей дерзости. Въ вѣкъ, въ который хотятъ они перенести читателя, перебираются они сами съ тяжелымъ запасомъ домашнихъ привычекъ, предразсудковъ и дневныхъ впечатлѣній. Подъ беретомъ, осѣненнымъ перьями, узнаёте вы голову, причесанную вашимъ парикмахеромъ; сквозь кружевную фрезу à la Henvi IV, проглядываетъ накрахмаленный галстухъ нынѣшняго dandy. Сколько несоразмѣрностей, ненужныхъ мелочей, важныхъ упущеній! сколько изысканности, а сверхъ всего какъ мало жизни!“ [1]) Критиковъ, „негодующихъ“ на то, что Пугачевъ у него вышелъ „Емелькой Пугачевымъ, а не Байроновымъ Ларою“, — поэтъ отсылаетъ къ Полевому,— „который, говоритъ онъ, вѣроятно, за сходную цѣну, возьмется идеализировать это лицо по самому послѣднему фасону...“ [2])

От писателя Пушкинъ требуетъ серьезности и отвѣтственности за свои слова. По поводу одной литературной выходки Дельвига, Пушкинъ пишетъ ему (изъ Одессы въ 1823 году): „Сомовъ безмундирный — не простительно. Просвѣщенному ли человѣку, русскому ли сатирику

---

[1]) *Сочин.*, V, 89. [2]) *Сочин.*, VII, 356—357.

пристало смѣяться надъ независимостью писателя? Это шутка, достойная коллежскаго совѣтника Измайлова.." [1])

Поэтъ требуетъ отъ литературы вообще бóльшей содержательности. „У насъ нѣтъ еще ни словесности, ни книгъ, пишетъ Пушкинъ въ своихъ одесскихъ черновыхъ замѣткахъ, въ 1824 году—всѣ наши знанія, всѣ наши понятія съ младенчества почерпнули мы въ книгахъ иностранныхъ; мы привыкли мыслить на чужомъ языкѣ; метафизическаго языка у насъ вовсе не существуетъ. Просвѣщеніе вѣка требуетъ важныхъ предметовъ для пищи умовъ, которые уже не могутъ довольствоваться блестящими игрушками,—но ученость, политика, философія по русски еще не изъяснились. Проза наша еще такъ мало обработана, что даже въ простой перепискѣ мы принуждены создавать обороты для понятій самыхъ обыкновенныхъ, и лѣность наша охотнѣе выражается на языкѣ чужомъ, механическія формы котораго давно уже извѣстны..." [2])

Пушкинъ хорошо видѣлъ и сознавалъ существенный недостатокъ современной ему русской литературы—полное отсутствіе въ ней серьезной критики. „Гдѣ же критика? пишетъ поэтъ въ 1825 г.—литература кой-какая есть, а критики нѣтъ.." [3]) И въ другомъ мѣстѣ: „Критики у насъ недостаетъ. Отселѣ репутація Ломоносова и Хераскова... Кумиръ Державина, $^1/_4$ золотой, $^3/_4$ свинцовой—донынѣ еще неоцѣненъ. Княжнинъ безмятежно пользуется своею славою, Богдановичъ причисленъ къ

---

[1]) *Сочин.*, VII, 131. [2]) *Сочин.*, V, 16. 24. [3]) *Сочин.*, VII, 171—172.

лику великихъ поэтовъ, Дмитріевъ — также. Мы не имѣемъ ни единаго комментарія, ни единой критической книги. Мы не знаемъ, что такое Крыловъ..." [1]) Отсюда— случайность успѣха и неуспѣха нашихъ писателей. „У насъ литература не есть потребность народная, пишетъ Пушкинъ: писатели получаютъ извѣстность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; классъ писателей ограниченъ и имъ управляютъ журналы, которые судятъ о литературѣ, какъ о политической экономіи, — о политической экономіи, какъ о музыкѣ, т. е. наобумъ, понаслышкѣ, безъ всякихъ основательныхъ правилъ и свѣдѣній, а большею частью по личнымъ разсчетамъ" [2]).

На современныхъ критиковъ поэтъ смотритъ съ полнымъ пренебреженіемъ. „Критика въ нашихъ журналахъ, замѣчаетъ онъ, или ограничивается сухими библіографическими извѣстіями, сатирическими замѣчаніями, болѣе или менѣе остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается въ домашнюю переписку издателя съ сотрудниками, съ корректоромъ и проч. „Очистите мѣсто для новой статьи моей", пишетъ сотрудникъ. —Съ удовольствіемъ, отвѣчаетъ издатель. И это все напечатано... Скажутъ, продолжаетъ онъ, что критика должна заниматься произведеніями, имѣющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочиненіе само по себѣ ничтожно, но замѣчательно по своему успѣху или вліянію, и въ семъ отношеніи нравственныя наблюденія важнѣе наблюденій литературныхъ. Въ прошломъ году напечатано нѣсколько книгъ

---

[1]) *Сочин.*, VII. 171—172. [2]) *Сочин.*, V, 151.

(между прочими *Иванъ Выжигинъ*), о коихъ критика могла бы сказать много поучительнаго и любопытнаго. Но гдѣ же онѣ были разобраны, пояснены? Не говоря уже о живыхъ писателяхъ, Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ-Визинъ ожидаютъ еще египетскаго суда. Высокопарныя прозвища, безусловныя похвалы, пошлыя восклицанія уже не могутъ удовлетворить людей здравомыслящихъ..." [1]) Поэтъ съ сожалѣніемъ указываетъ, что въ большинствѣ критическихъ статей даже лучшихъ современныхъ журналовъ—„брань доводится до изступленія, болѣе чѣмъ на тридцати страницахъ грубыя насмѣшки и ругательства, нѣтъ ни одного дѣльнаго обвиненія, ни одного поучительнаго показанія... Ужели такъ трудно нашей братьѣ критикамъ сохранить хладнокровіе?" [2]). Съ другой стороны, поэта поражаетъ необыкновенная жеманность этой критики и странныя понятія ея о нравственности того или другаго произведенія. „Если бы *Недоросль*, сей единственный памятникъ народной сатиры, замѣчаетъ онъ, явился въ наше время, то въ нашихъ журналахъ, посмѣясь надъ правописаніемъ Фонъ-Визина, съ ужасомъ замѣтили бы, что Простакова бранитъ Палашку канальей и собачьей дочерью, а себя сравниваетъ съ сукою (!!). „Что скажутъ дамы, воскликнулъ бы критикъ? вѣдь эта комедія можетъ попасться дамамъ!" Въ самомъ дѣлѣ странно. Что за нѣжный и разборчивый языкъ должны употреблять господа сіи съ дамами! Гдѣ бы, какъ бы послушать! А дамы наши (Богъ имъ судья) ихъ и не слушаютъ и не читаютъ; а читаютъ этого грубаго В. Скотта, который никакъ не умѣетъ замѣ-

[1]) *Сочин.*, V, 76—77. [2]) *Сочин.*, V, 83—84.

нить просторѣчіе простомысліемъ...“ [1]) Онъ жалуется, что слова: „усы“, „визжать“, „вставай“, „ого“, „пора“— казались современнымъ критикамъ „низкими, бурлацкими выраженіями...“ [2]) „Эти гг. критики, пишетъ Пушкинъ въ другомъ мѣстѣ, нашли странный способъ судить о степени нравственности какого нибудь стихотворенія. У одного изъ нихъ есть 15-ти лѣтняя племянница, у другаго 15-ти лѣтняя знакомая, и все, что̀ по благоусмотрѣнію родителей не дозволяется имъ читать, провозглашено неприличнымъ, безнравственнымъ, похабнымъ! Какъ будто литература и существуетъ только для 16-ти лѣтнихъ дѣвушекъ! Для нихъ издаются христоматія, выбранныя мѣста и т. п.; но публика не 15-ти лѣтняя дѣвушка и не 13-ти лѣтній мальчикъ...“ И далѣе прибавляетъ: „Безнравственное сочиненіе есть то, коего цѣлью или дѣйствіемъ бываетъ потрясеніе правилъ, на коихъ основано общественное счастіе или достоинство человѣческое. Стихотворенія, коихъ цѣль горячить воображеніе любострастными описаніями, унижаютъ поэзію, превращая ея божественный нектаръ въ воспалительный составъ. Но шутка, вдохновенная сердечною веселостью и минутною игрою воображенія, можетъ показаться безнравственною только тѣмъ, которые о нравственности имѣютъ дѣтское или темное понятіе, смѣшивая ее съ нравоученіемъ, и видятъ въ литературѣ одно педагогическое занятіе“ [3]). Онъ указываетъ также на необыкновенную наивность критическихъ замѣчаній. „Самыя обыкновенныя риторическія фигуры и тропы, жалуется поэтъ, останавливаютъ критика, напр.: „можно ли сказать ста-

[1]) *Сочин.*, V, 120. [2]) *Сочин.*, V, 134. [3]) *Сочин.*, V, 124—125.

канъ шипитъ, вмѣсто вино шипитъ въ стаканѣ? Каминъ дымитъ, вмѣсто паръ идетъ изъ камина? Не слишкомъ ли смѣло ревнивое подозрѣніе? невѣрный ледъ?"...[1]) У насъ критика, пишетъ Пушкинъ къ Погодину—ниже даже и публики, не только самой литературы; сердиться на нее можно, но довѣрять ей въ чемъ бы то ни было—непростительная слабость" [2]).

Вмѣстѣ съ этимъ, критика эта была до крайности безцеремонна во всякаго рода намекахъ и оскорбленіяхъ личности. По своей безпринципности и любви къ личностямъ,—критика скоро отучила Пушкина уважать ея отзывы. Указывая на какую-то выходку противъ него Надеждина, еще болѣе другихъ серьезнаго критика, Пушкинъ пишетъ Погодину: „Ка́къ послѣ этого порядочному человѣку связываться съ этимъ народомъ? И что, если бы еще должны мы были уважать N., N., N.? Приходилось бы стрѣляться послѣ каждаго нумера ихъ журна́ловъ. Слава Богу, что общее (общественное) мнѣніе (каково бы у насъ ни было) избавляетъ насъ отъ хлопотъ..." [3])„ Все, что́ называютъ у насъ критикою, писалъ поэтъ въ 1831, — одинаково глупо и смѣшно. Съ моей стороны, я отступился: возражать

---

[1]) *Сочин.*, V, 125. [2]) *Сочин.*, VII, 311. Поэтъ нерѣдко подсмѣивался также надъ добродушностью этой критики: «Наши поэты, пишетъ онъ, не могутъ жаловаться на излишнюю строгость критиковъ и публику; напротивъ, едва замѣтимъ въ молодомъ писателѣ навыкъ къ стихосложенію, знаніе языка и средствъ онаго, уже тотчасъ спѣшимъ привѣтствовать его титломъ генія за гладкіе стишки и нѣжно благодаримъ его въ журналахъ отъ имени человѣчества; невѣрный переводъ, блѣдное подражаніе сравниваемъ безъ церемоніи съ безсмертными произведеніями Гёте и Байрона: добродушіе смѣшное, но безвредное». *Сочин.*, V, 148.

[3]) *Сочин.*, VII, 310—312. Ср. также, VII, 313; V, 100 и др.

серьезно не возможно, а плясать передъ публикою не намѣренъ...“ [1])

Замѣтимъ здѣсь, что поэтъ имѣлъ полное право стать въ такое отношеніе къ современной ему критикѣ. Критики, въ строгомъ смыслѣ этого слова, у насъ въ то время дѣйствительно не существовало. „Журнальная критика Пушкинскаго періода, говоритъ проф. Тихонравовъ, за немногими исключеніями (Полевой, Кирѣевскій, Шевыревъ), поражаетъ отсутствіемъ твердыхъ философскихъ и эстетическихъ принциповъ, неспособностью понять и освѣтить общественные вопросы, узкимъ пуризмомъ, смѣшивавшимъ нравственность съ нравоученіемъ. Благовоспитанные критики Сына Отечества и Вѣстника Европы приходили въ ужасъ отъ *Руслана и Людмилы*, — гдѣ „пародировался Кирша Даниловъ и просвѣщеннымъ людямъ предлагалась поэма, написанная въ подражаніе *Еруслана Лазаревича*“, гдѣ воспроизводились „плоскія шутки старины..“ Невскій Зритель сѣтовалъ по поводу той же поэмы на „низкія сравненія, безобразное волшебство, сладострас-

[1]) *Сочин.*, VII, 322. Впрочемъ, поэтъ сознавалъ цѣну нѣкоторыхъ современныхъ критическихъ статей: «Какъ наша словесность, пишетъ онъ въ 1830 году, съ гордостью можетъ выставить передъ Европою Исторію Карамзина, нѣсколько одъ, нѣсколько басенъ, поэмъ, переводъ Иліады, нѣсколько цвѣтовъ элегической поэзіи,—такъ и наша критика можетъ представить нѣсколько отдѣльныхъ статей, исполненныхъ свѣтлыхъ мыслей и важнаго остроумія. Но онѣ являлись отдѣльно, въ разстояніи одна отъ другой, и не получили еще вѣса и постояннаго вліянія. Время ихъ еще не приспѣло». *Сочин.*, V, 118. Въ другомъ мѣстѣ замѣчаетъ: «Шевыревъ, Кирѣевскій, Погодинъ и другіе писатели написали нѣсколько опытовъ, достойныхъ стать на ряду съ лучшими статьями англійскихъ Reviews...» *Сочин.*, V, 199.

ныя картины и такія выраженія, которыя оскорбляютъ хорошій вкусъ". Въ *Борисѣ Годуновѣ* критика находила „неприличною" сцену свиданія самозванца съ Мариною, порицала „возрастающее безуміе самозванца и возрастающую наглость Марины" и находила это произведеніе неудобнымъ для дамъ высшаго круга. Какой-то критикъ предложилъ промѣнять сцену Бориса Годунова—на картинку Дамскаго Журнала... Писатель умный и дорожившій своими убѣжденіями сожалѣлъ, что Пушкинъ заставилъ своего Алеко водить медвѣдя. „Вся поэзія Пушкина (отзывался одинъ изъ тогдашнихъ критиковъ) была рѣзвая шалунья, для которой весь міръ ни въ копѣйку, ея стихія пересмѣхать все —худое и хорошее—просто изъ охоты позубоскалить... Поэзія Пушкина есть просто пародія". Критику оскорблялъ и выборъ Пушкинымъ для своихъ произведеній сюжета и способъ художественной его обработки. „Главнѣйшими изъ пружинъ, увѣряла она, приводящими въ движеніе весь піитическій машинизмъ ихъ (новѣйшихъ поэтовъ), обыкновенно бываютъ: пуншъ, аи, бордо, дамскія ножки, будуарное удальство, площадное подвижничество. Самую любимую сцену составляютъ Муромскіе лѣса, подвижные бессарабскіе наметы, магическое уединеніе овиновъ и бань..." Критика ядовито сравнивала Пушкина то съ Барковымъ, то съ авторомъ *Энеиды на изнанку*, обнаруживая тѣмъ одновременно и полное непониманіе великаго значенія произведеннаго Пушкинымъ переворота въ русской поэзіи и близорукое отношеніе къ первымъ на Руси представителямъ мѣщанскаго вкуса, горячимъ противникамъ ложнаго классицизма. Критика представляла себѣ литературу этого направленія „кровожадною, развратною вѣдьмою съ прыщиками на лицѣ".

Симпатіи критики принадлежали еще „чопорной“ школѣ XVIII вѣка, и Пушкинъ очень хорошо понималъ, ка́къ она должна была относиться къ его широкому и свободному поэтическому творчеству,—къ тому, что́ онъ называлъ романтизмомъ. „Робкій вкусъ нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма“, писалъ онъ въ 1725 году... [1])

Критика, по мнѣнію поэта, главнымъ образомъ необходима потому, что только посредствомъ ея можно сильнѣе всего вліять на подъемъ и развитіе общественнаго (или, какъ выражался Пушкинъ, „общаго“) мнѣнія, а равно на измѣненіе характера и самой литературы,—на сообщеніе ей бо́льшей серьезности и содержанія. „Состояніе критики, замѣчаетъ поэтъ, само по себѣ показываетъ степень образованности всей литературы вообще. Если приговоры журналовъ нашихъ достаточны для насъ, то изъ сего слѣдуетъ, что мы не имѣемъ еще нужды ни въ Шлегеляхъ, ни даже въ Лягарпахъ. Презирать критику значило бы презирать публику (чего Боже сохрани!)“ [2]). „Истинная критика“ неразрывно связана съ общественнымъ („общимъ“) мнѣніемъ. „Голосъ истинной критики необходимъ у насъ, пишетъ поэтъ: нужно „забрать въ руки общее (общественное) мнѣніе и дать нашей словесности новое, истинное направленіе....“ [3])

Отъ критики поэтъ требуетъ серьезности и безпристрастія. Мы видѣли его упреки въ этомъ отношеніи Вяземскому. Въ томъ же пристрастіи Пушкинъ упре-

---

[1]) Тихонравовъ, *А. С. Пушкинъ*. Вѣстн. Евр., 1880, августъ, стр. 723—724.

[2]) *Сочин.*, V, 118. [3]) *Сочин.*, VII, 158.

каетъ **Плетнева** и **Бестужева**. „Братъ Плетневъ! пишетъ онъ первому въ 1825 г. изъ Михайловскаго: не пиши добрыхъ критикъ! будь зубастъ и бойся приторности“ [1]. „Зачѣмъ ясно не обнаружить своего мнѣнія, пишетъ Пушкинъ Бестужеву по поводу его сдержанныхъ замѣчаній о „Евгеніи Онѣгинѣ“. Покамѣстъ мы будемъ руководствоваться личными нашими отношеніями, критики у насъ не будетъ“ [2].

Различіе литературныхъ взглядовъ, стремленіе къ основанію въ литературѣ „истинной критики“, могущей вліять на развитіе общественнаго мнѣнія — сказывалось и въ постоянныхъ заботахъ Пушкина объ основаніи серьезнаго литературнаго и политическаго журнала. Мысль о необходимости критическаго журнала и политической газеты неотвязно преслѣдуетъ Пушкина почти съ самаго начала царствованія императора Николая. Современными ему русскими журналами онъ крайне недоволенъ. По его мнѣнію, „лучшій изъ всѣхъ нашихъ журналовъ, Телеграфъ—хоть человѣкъ честный и порядочный, но враль и невѣжда“... Онъ укоряетъ Полеваго, что тотъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ „завирается и пишетъ наобумъ“ [3]. Въ 1823 году Пушкинъ пишетъ брату: „Душа моя, какъ перевести по русски bévues? Должно бы издавать у насъ журналъ Révue des Bévues—мы помѣстили бы тамъ выписки изъ критикъ Воейкова, полуденную денницу Рылѣева, его же гербъ россійскій на вратахъ византійскихъ... Повѣришь ли, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи

---

[1] *Сочин.*, VII, 115. [2] *Сочин.*, VII, 176. [3] *Сочин.*, VII. 229. 30. 29.

вашихъ журналовъ, что бы не найти съ десятокъ этихъ bévues“ [1]).

Между тѣмъ, журналъ по мнѣнію поэта, имѣетъ чрезвычайно важное общественное значеніе. „Ты не пренебрегай журнальными мелочами, пишетъ Пушкинъ Вяземскому въ 1825 году: Наполеонъ ими занимался и былъ журналистомъ Парижа“ [2]). Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характернымъ является пренебреженіе поэта къ господствовавшей въ то время у насъ литературной формѣ — альманахамъ. „Пора задушить альманахи, пишетъ онъ: журналы вездѣ управляютъ общимъ (общественнымъ) мнѣніемъ [3]). „Когда то мы возьмемся за журналъ! пишетъ Пушкинъ въ 1825 г.: Мочи нѣтъ хочется“ [4])... Пушкинъ съ жаромъ поддерживаетъ основанный Погодинымъ Московскій Вѣстникъ. „Надобно, чтобы нашъ журналъ, пишетъ Пушкинъ Погодину въ 1828 году, издавался и на слѣдующій годъ. Онъ, конечно, будь сказано между нами, первый, единственный журналъ на святой Руси... Должно терпѣніемъ, добросовѣстностью, благородствомъ и особенно настойчивостью оправдать ожиданія истинныхъ друзей словесности... Пора уму и знаніямъ вытѣснить Булгарина и Θедорова“ [5])... Пушкинъ — въ отчаяніи отъ намѣренія Погодина издать (на 1827 г.) альманахъ Уранію: „Вы хотите издавать Уранію!!! пишетъ онъ ему: Et tu, Brute!... Но подумайте: на чтó это будетъ похоже? Вы издатель европейскаго журнала въ азіатской Москвѣ, вы честный литераторъ между лавочниками литературы, вы!...

---

[1]) *Сочин.*, VII, 90. [2]) *Сочин.*, VII, 29. [3]) *Сочин.*, VII, 294. [4]) *Сочин.*, VII, 33. [5]) *Сочин.*, VII, 304—305.

Нѣтъ, вы не захотите марать себѣ рукъ альманашной грязью“ [1]... Пушкинъ съ полнымъ сочувствіемъ относится къ „Литературной газетѣ“ Дельвига. „Его газета хороша, пишетъ онъ Вяземскому въ 1830 г.: ты много оживилъ ее. Поддерживай ее, покамѣстъ нѣтъ у насъ другой. Стыдно будетъ уступить поле Болгарину. Дѣло въ томъ, что чисто литературной газеты у насъ быть не можетъ: должно принять въ союзницы или моду или политику. Соперничать съ Раичемъ и Шаликовымъ какъ-то совѣстно“ [2]...

Только за годъ до смерти мечты поэта о серьезномъ критическомъ и литературномъ журналѣ сбылись: въ 1836 году имъ былъ наконецъ основанъ „Современникъ“, котораго онъ успѣлъ издать четыре книжки.

Изъ всего изложеннаго, съ достаточной ясностью обрисовываются взгляды Пушкина на сущность и задачи поэти-

[1] *Сочин.*, VII, 302—303. [2] *Сочин.*, VII, 52.—С. Е. Раичъ, родной братъ покойнаго моск. митр. Филарета, род. 1792 г., ум. 1855. Онъ былъ извѣстенъ, какъ переводчикъ, журналистъ и поэтъ. Въ 1828 г. вышелъ наиболѣе важный его трудъ—переводъ *Освобожденнаго Іерусалима* Торквата Тасса; въ 1832—37 гг. переводъ *Неистоваго Роланда* Аріосто. Изъ альманаховъ имъ были изданы: въ 1823 г., «Новыя Аониды», въ 1827 г. «Сѣверная Лира»; съ 1829 г. Раичъ сталъ издавать журналъ «Галатея», прекратившійся въ концѣ 1830 и возобновившійся на 1839—40 гг. Изъ стихотвореній Раича—лучшимъ можетъ быть названо *Друзьямъ*, напечатанное въ 1826 г. и облетѣвшее всю Россію («Не дивитеся, друзья, что не разъ между васъ» и пр.)—Кн. П. И. Шаликовъ (1768—1852) сначала служилъ въ гусарахъ, а потомъ, выйдя въ отставку и поселившись въ Москвѣ, сталъ заниматься литературой. Въ 1806 г. Шаликовъ издавалъ «*Московскій Зритель*», въ 1808—1812 гг. «*Аглаю*», въ 1823—1833 гг. «*Дамскій Журналъ*».

ческаго творчества и вообще литературы. Въ замѣнъ „жеманности ложноклассицизма французскаго“ онъ требуетъ для поэта свободы творчества, мысли въ содержаніи, серьёзности критики... Чрезвычайно важны эти заботы нашего поэта о подъемѣ русской критики, о необходимости поднятія и регулированія ею общественнаго мнѣнія, объ общемъ развитіи у насъ общественной мысли: все это вытекало изъ живаго сознанія, что литература должна быть не праздной забавой, но серьёзной общественной силой, и что общественное мнѣніе должно ею создаваться и питаться. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно многознаменательными были брошенныя поэтомъ вскользь слова, — что нашей литературѣ нужно дать „новое, истинное направленіе“. Великій поэтъ дѣйствительно положилъ начало новому періоду русской литературы.

Въ чемъ же состояло это „новое, истинное направленіе“? По прекрасному выраженію одного изъ изслѣдователей нашей литературы, — „на высоту служенія общественному развитію, общественной мысли, поднималъ Пушкинъ русскую поэзію“...

Эта высокая цѣль достигалась прежде всего необыкновенной художественностью его поэзіи. Въ этомъ отношеніи поэзія Пушкина имѣла и продолжаетъ имѣть высокое воспитательное значеніе. Пушкину едва исполнилось 18 лѣтъ, когда Батюшковъ, прочитавъ его элегію: *Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда*, воскликнулъ: „Злодѣй! какъ онъ началъ писать“!.. И дѣйствительно, до Пушкина такъ еще никто не писалъ на Руси, замѣчаетъ Тургеневъ. Эта сторона поэзіи Пушкина съ необыкновенной вѣрностью оцѣнена была уже Бѣлинскимъ. „До Пушкина были у насъ поэты,

говорилъ онъ въ 1844 г, въ подробномъ разборѣ сочиненій Пушкина: но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ... Пушкинъ первый изъ русскихъ овладѣлъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущеніе, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой поэзіи. Онъ созерцалъ природу и дѣйствительность подъ особеннымъ угломъ зрѣнія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтическій... До него, у насъ не было даже предчувствія того, чтó такое искусство, художество"... Только послѣ Пушкина стало для всѣхъ ясно, „что различіе стиховъ отъ прозы заключается не въ риѳмѣ и размѣрѣ только, но что и стихи, въ свою очередь, могутъ быть и поэтическіе и прозаическіе... До него наша поэзія была только краснорѣчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей,—къ которымъ она относилась какъ удобное средство для доброй цѣли, какъ бѣлила и румяны для блѣднаго лица старушки-истины. Это мертвое понятіе о пользѣ поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъ называемую дидактическую поэзію.... Наша русская поэзія до Пушкина была позолоченною пилюлею, подслащеннымъ лѣкарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія только проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массѣ риторической воды. Много было сдѣлано для языка, для стиха, кое-что было сдѣлано и для поэзіи; но поэзіи, какъ поэзіи, т. е. такой поэзіи, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была-бы поэзіей— такой поэзіи еще не было! Пушкинъ былъ призванъ быть

живымъ откровеніемъ ея тайны на Руси" [1])... Разбирая произведенія Пушкина, Бѣлинскій нерѣдко приходитъ въ восторгъ отъ ихъ художественности, затрудняясь даже оцѣнивать ихъ съ этой стороны, такъ мало было въ нашей литературѣ чего либо подобнаго до Пушкина. Приводя, напр., изъ *Полтавы* описаніе малороссійской ночи, критикъ замѣчаетъ: „Можно ли читать безъ упоенія, столько же полнаго грусти, сколько и наслажденія, эти стихи?"... „Скажите: ка́къ, какимъ языкомъ хвалить такіе черты и отрывки высокаго художества?—восклицаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, по поводу другаго примѣра. Чтобы быть достойнымъ критикомъ такихъ стиховъ, нужно самому быть поэтомъ — и еще какимъ!"... [2])

Оцѣнка, сдѣланная Бѣлинскимъ, сохраняетъ почти все значеніе и до сихъ поръ. Отзывы Бѣлинскаго о художественности произведеній Пушкина не разъ были повторяемы послѣдующей критикой. „Пушкинъ далъ намъ первыя художественныя произведенія на родномъ языкѣ,—говоритъ одинъ изъ критиковъ половины 50-хъ гг. въ „Современникѣ", въ своихъ статьяхъ о сочиненіяхъ Пушкина,—познакомилъ насъ съ невѣдомою до него поэзіею... Онъ истинный отецъ нашей поэзіи, онъ воспитатель эстетическаго чувства и любви къ благороднымъ эстетическимъ наслажденіямъ въ русской публикѣ... Говоря о значеніи Пушкина въ исторіи развитія нашей литературы и общества, продолжаетъ онъ, — должно смотрѣть не на то, до какой степени выразились въ его произведеніяхъ различныя стремленія, встрѣчаемыя на другихъ ступе-

---

[1]) **Бѣлинскій**, Сочиненія, VIII, изд. 3, М., 1874, стр. 369—373. [2]) **Бѣлинскій**, Сочин., VIII, 496. 498.

няхъ развитія общества, а принимать въ соображеніе настоятельнѣйшую потребность тогдашняго времени,—потребность литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще. Въ этомъ отношеніи значеніе Пушкина неизмѣримо велико. Черезъ него разлилось литературное образованіе на десятки тысячъ людей, между тѣмъ какъ до него литературные интересы занимали не многихъ. Онъ первый возвелъ у насъ литературу въ достоинство національнаго дѣла, между тѣмъ какъ прежде она была, по удачному заглавію одного изъ старинныхъ журналовъ,—„пріятнымъ и полезнымъ препровожденіемъ времени“ для тѣснаго кружка диллетантовъ. Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ въ глазахъ всей русской публики на то высокое мѣсто, какое долженъ занимать въ своей странѣ великій писатель. Вся возможность дальнѣйшаго развитія русской литературы была приготовлена Пушкинымъ“ [1].... И въ другомъ мѣстѣ: „По особенности своего поэтическаго настроенія Пушкинъ соотвѣтствовалъ если не всѣмъ, то по крайней мѣрѣ одной изъ важнѣйшихъ потребностей своего времени. Его произведенія могущественно дѣйствовали на пробужденіе сочувствія къ поэзіи въ массѣ русскаго общества, они умножили въ десять разъ число людей, интересующихся литературою и черезъ то дѣлающихся способными къ воспринятію высшаго нравственнаго развитія. Онъ самъ прекрасно очертилъ это достоинство литературныхъ произведеній, говоря:

Плодятъ читателей они;
Гдѣ есть повѣтріе на чтенье,
Тамъ просвѣщенье, тамъ добро» [2]...

---

[1] *Современникъ*, 1855, мартъ, стр. 32; августъ, стр. 51—52.
[2] *Современникъ*, 1855, мартъ, стр. 31.

Эти взляды на художественную сторону произведеній Пушкина вполнѣ раздѣляются и современными изслѣдователями. „Пушкинъ былъ первымъ русскимъ художникомъ-поэтомъ, говорилъ Тургеневъ въ своей рѣчи о Пушкинѣ на пушкинскомъ праздникѣ въ Москвѣ, въ 1880 году. Пушкинъ былъ центральный художникъ, человѣкъ, близко стоящій къ самому средоточію русской жизни“ [1])... „На поэзію Пушкинъ смотрѣлъ, какъ на святыню, читаемъ въ рѣчи акад. Сухомлинова, — и въ этомъ его историческая заслуга передъ русскою литературой. Подобно тому, какъ Ломоносовъ, доказывая, что занятіе науками, изученіе природы — свято, открывалъ путь для научныхъ изслѣдованій, вопреки невѣжеству и лицемѣрію, такъ и Пушкинъ, признавая поэзію святынею и требуя нравственнаго достоинства для ея служителей, завоевывалъ ей право гражданства въ тогдашнемъ обществѣ.... Поэзія была для Пушкина не праздной забавою, а дѣломъ жизни которому отдавалъ онъ свои лучшія силы и для котораго работалъ неутомимо“ [2])...

Какъ поэту-художнику, Пушкину наша литература въ особенности обязана созданіемъ поэтическаго языка. „Онъ создалъ нашъ поэтическій, нашъ литературный языкъ — говорилъ въ своей рѣчи Тургеневъ—намъ и нашимъ потомкамъ остается только итти по пути, проложенному его геніемъ“ .. [3])

---

[1]) *Вѣстн. Евр.*, 1880, іюль, стр. IV. V. VIII.

[2]) *Вѣнокъ на памятникъ Пушкину*. Спб., 1880, стр. 228. 230.

[3]) Вѣстн. Евр., 1880, іюль, стр. VII.

Говоря о художественности произведеній Пушкина, не можемъ не сдѣлать нѣсколькихъ, чисто теоретическихъ, замѣчаній. Замѣчанія эти напрашиваются сами собою,—вызываясь нѣкоторыми, нерѣдко направлявшимися по адресу Пушкина, укорами. Въ отвѣтъ на эти укоры, мы не можемъ не напомнить нѣсколькихъ страницъ одной очень давно, лѣтъ 30 тому назадъ, написанной монографіи о сочиненіяхъ Пушкина. Намъ кажется, что многое, сказанное тогда, какъ нельзя лучше можетъ быть повторено и въ настоящемъ случаѣ.

Многіе изъ критиковъ — замѣчаетъ изслѣдователь— вполнѣ признавая за произведеніями Пушкина ихъ необыкновенную художественность, признавая, что Пушкинъ былъ въ нашей литературѣ художникомъ по преимуществу, что онъ первый внесъ въ нее истинное начало поэзіи и т. д.,— вмѣстѣ съ этимъ утверждаютъ, что онъ и былъ только художникомъ, только поэтомъ; что, повинуясь влеченію своей природы, онъ подчинилъ себя вполнѣ теоріи, предписывающей искусству не знать иной цѣли, кромѣ цѣли искусства. Ему бы только уловить красоту явленія, только начертить изящный образъ, только передать ощущеніе въ живой прелести стиха... Такъ онъ и понималъ свое назначеніе, какъ поэта,—высказавши свою теорію искусства въ знаменитомъ своемъ стихотвореніи: *Чернь*. Съ презрѣніемъ и негодованіемъ отталкиваетъ поэтъ эту, какъ онъ выражается, „тупую чернь“, этотъ „непосвященный и безсмысленный народъ“, который собрался просить у него слова поученія, и т. д.

Возражая на эти укоры, изслѣдователь справедливо говоритъ: „Искусство должно имѣть свою внутреннюю цѣль,

какъ имѣетъ ее все на свѣтѣ. Это общій законъ всякой организаціи, всякаго самостоятельнаго существованія, всякой дѣятельности, условленной природою человѣческою. Говорите, чтó хотите, но не отнимайте у искусства его права на существованіе, sa raison d'être. Неужели въ самомъ дѣлѣ эта богатая и великая сфера человѣческой дѣятельности, сфера, въ которой проявлено столько силъ и генія, неужели она лишена своего внутренняго закона, неужели ей не дано начала самоуправленія, самобытности и независимости? Неужели явленія въ этой области возникаютъ только по постороннимъ поводамъ и требованіямъ?...“

„Самая первая и существенная цѣль искусства есть истина..; въ основаніе его мы должны положить тоже, что и въ основаніе познающей мысли—истину“... Поэзія, въ частности, есть прежде всего „одна изъ формъ нашего сознанія. Это особаго рода мышленіе; это умственная дѣятельность... Истина есть первая и необходимая основа всякой поэзіи; истина есть такъ-же внутренняя цѣль ея, какъ и цѣль знанія; она-то даетъ искусству значеніе существенное, великое; благодаря ей-то искусство есть нѣчто необходимое въ общей экономіи человѣческаго духа. Скажемъ болѣе, скажемъ рѣшительно, поэзія въ сущности есть тоже самое, чтó и познающее мышленіе, тоже, чтó и знаніе, тоже чтó философія, и разнится отъ нихъ только предметами и способами постиженія“... [1])

Подробно останавливаясь на разборѣ стихотворенія Пушкина *Чернь* и приводя извѣстныя слова Пушкина:

---

[1]) Катковъ, *Пушкинъ*. Рус. Вѣстн., 1856, январь, стр. 159. 160, 162. 165. 306.

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ,—

изслѣдователь продолжаетъ: „Исповѣдь краснорѣчивая и сильная! Мы не должны однако привязываться въ ней къ каждому слову, или, съ другой стороны, видѣть въ этомъ лирическомъ движеніи точное выраженіе эстетическаго закона. Мы согласны, что въ общей исповѣди поэта выразилась невольно личность самого Пушкина, особенность его природы и дарованія. Но основный смыслъ этихъ стиховъ, чтó бы кто ни говорилъ, очень вѣренъ. Да! мы не имѣемъ никакого права требовать чего либо отъ искусства свыше того, чтó высказывается этими немногими словами, опредѣляющими призваніе художника. Если вдохновеніе не есть пустое слово, то чтó же иное можетъ означать оно здѣсь, какъ не творческое созерцаніе жизни и истины? Не есть ли это то благодатное состояніе, болѣе или менѣе испытанное каждымъ, въ которое какъ бы мгновенно озаряется свѣтомъ нашъ умъ, раскрывается кругъ нашихъ обычныхъ представленій и принимаетъ въ себя нѣчто новое, сильно и животворно дѣйствующее на наше сознаніе?.. Творческое воспроизведеніе дѣйствительности въ сознаніи—вотъ вдохновеніе художника, вотъ цѣль и задача его.“ [1])

Нѣсколько ниже изслѣдователь продолжаетъ: „Все въ мірѣ связано между собою, все дѣйствуетъ одно на другое, и потому все можетъ быть взаимно полезно или вредно. Но, съ другой стороны, дѣйствовать успѣшно можетъ только то, чтó достаточно сильно и зрѣло въ самомъ

---

[1]) Катковъ,—Рус. Вѣстн., 1856, янв., стр. 308.

себѣ. Каждая вещь имѣетъ свое назначеніе и становится способною дѣйствовать лишь въ той мѣрѣ, въ какой удовлетворяетъ внутреннему закону своего существованія. Въ человѣческомъ мірѣ должны мы признать то же самое. Каждая дѣятельность хочетъ имѣть свой корень, свою область и требуетъ самостоятельнаго развитія. Она должна прежде сама развиться, и лишь потомъ можетъ оказывать вліяніе на все прочее... Вы хотите, чтобы художникъ былъ полезенъ? Дайте же ему быть художникомъ, и не смущайтесь тѣмъ, что онъ съ полнымъ усердіемъ занятъ изученіями и приготовленіями, которыя имѣютъ своею единственною цѣлью дѣло искусства... Когда дѣло исполнится, когда оно явится въ свѣтъ, оно непремѣнно окажетъ вліяніе на всѣ стороны человѣческаго сознанія и жизни, и окажетъ тѣмъ сильнѣйшее вліяніе, чѣмъ болѣе будетъ соотвѣтствовать условіямъ своей внутренней природы... Правда,—продолжаетъ изслѣдователь,—люди призваны въ міръ не для одного спокойнаго созерцанія; мы должны дѣйствовать и участвовать въ великихъ битвахъ жизни, каждый по силамъ и средствамъ своимъ; все въ человѣческомъ мірѣ стремится и дѣйствуетъ, все въ напряженіи и борьбѣ; такъ! мы не будемъ терпѣть, чтобы силы, столь нужныя для дѣйствія и борьбы, замыкались въ неприступной оградѣ и пребывали тамъ въ блаженномъ созерцаніи, безплодно для всего окружающаго. Но точно ли остаются эти силы безплодными? Точно ли изъ этихъ возвышенныхъ сферъ не проистекаетъ обратное дѣйствіе на жизнь?.. Самыя, если позволено будетъ такъ выразиться, спеціальныя произведенія исскусства не остаются безъ дѣйствія на жизнь, и дѣйствіе ихъ можетъ оказаться тамъ, гдѣ мы вовсе не ожидали его... Поэзія ознаменовы-

ваетъ первое пробужденіе народа къ исторической жизни, искусство и знаніе сопутствуютъ его развитію и служатъ самымъ лучшимъ выраженіемъ силы и свойства развитія. Народы самые практическіе отличались высокимъ и сильнымъ развитіемъ умственной и художественной дѣятельности, которая повидимому была совершенно чужда текущихъ вопросовъ и дневныхъ интересовъ, но которая въ самомъ-то дѣлѣ была совершенно необходима для успѣховъ жизни... Художественная мысль, какъ и мысль познающая, открываетъ намъ внутренній взоръ на явленія жизни и черезъ то расширяетъ наше сознаніе, сферу нашего умственнаго господства: словомъ, могущественно способствуетъ тому, изъ за чего мы бьемся въ жизни. Требуйте отъ искусства прежде всего истины; требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явленій и приводила къ общему сознанію все то, чтó творится и дѣется во мракѣ жизни; требуйте этого, и польза приложится сама собою, польза великая, ибо чего же лучше, если жизнь пріобрѣтаетъ свѣтъ, а сознаніе—силу и господство?"

„Не заставляйте художника браться за „метлу",—какъ выразился Пушкинъ... Повѣрьте, тутъ то и мало будетъ пользы отъ него. Пусть, напротивъ, онъ дѣлаетъ свое дѣло; оставьте ему его „вдохновеніе", его „сладкіе звуки", его „молитвы". Если только вдохновеніе его будетъ истинно, онъ, не заботьтесь, будетъ полезенъ... Остережемся, чтобы вмѣсто поэта не навязать себѣ на шею или фразера или доктринера" [1])...

---

[1]) **Катковъ**, —Рус. Вѣстн., 1856, янв., стр. 310. 311—312. 313. 314 sqq.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборѣ предметовъ для своихъ произведеній,—для него всѣ предметы равно были исполнены поэзіи [1]). Свое вдохновеніе онъ почерпалъ изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ, изображая жизнь во всей ея полнотѣ, захватывая своею поэзіею—

> И гимны вѣщіе внушенные богами
> И пѣсни мірныя фригійскихъ пастуховъ..

Сущность этой стороны своей поэзіи Пушкинъ самъ изобразилъ въ стихотвореніяхъ „*Эхо*" (1831), болѣе раннемъ „*Муза*" (1821) и др.

Но чаще и больше всего Пушкинъ былъ „эхомъ"—русской жизни. Это былъ не только „величайшій поэтъ", но и „поэтъ нашего народа" Съ элементомъ необычайной художественности поэзія Пушкина соединяла элементъ народности. Здѣсь была другая сторона того „новаго, истиннаго содержанія", къ которому такъ стремился Пушкинъ и которое дѣйствительно вносилось его поэзіею въ нашу литературу.

Первыя стремленія къ „народности" возникаютъ въ нашей литературѣ очень рано. Довольно много попытокъ, иногда весьма существенныхъ, въ этомъ отношеніи сдѣлано было уже въ XVIII в.,—хотя теоретическія представленія „народности" оставались еще бо̀льшею частью весьма слабыми. Весьма недостаточнымъ представленіе „народности" является и въ школѣ карамзинской, а также и въ романтизмѣ. Съ

---

[1]) Бѣлинскій, Сочин., VIII, 384.

двадцатыхъ годовъ слово „народность" все чаще повторяется въ литературѣ; народность ставится цѣлью и достоинствомъ литературы, — но для большинства самихъ писателей она и теперь все еще оставалась вещью весьма мало понятной и мало достигнутой. Великій поворотъ въ этомъ отношеніи сдѣланъ былъ только поэзіей Пушкина [1]).

Прежде всего, поэзія Пушкина давала читателямъ цѣлый рядъ необыкновенно художественныхъ картинъ русской природы.

Такихъ картинъ разсыпано множество въ его произведеніяхъ. Вся обстановка русской дѣйствительности, какъ живая, возникаетъ здѣсь передъ нами,—нерѣдко съ поразительной реальностью. Такими картинами полны страницы *Евгенія Онѣгина*, *Графа Нулина*, *Полтавы*, припомнимъ также стихотворенія *Бѣсы*, *Зимняя дорога* и т. д.

Русская деревенская природа и обстановка особенно привлекаютъ сердце поэта. Замѣчая въ одномъ мѣстѣ „Евгенія Онѣгина", что муза его совсѣмъ „одичала и позабыла рѣчь боговъ", что она забыла

столицы дальной
И блескъ, и шумные пиры,—

поэтъ говоритъ:

Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи

---

[1]) Пыпинъ, *Изслѣдованія русской народности*. Вѣст. Евр., 1881, авг., сент., ноябрь; 1882, апр., іюнь, іюль, ноябрь. декабрь; 1883, февр., мартъ, іюнь, авг., окт., ноябрь.

Да прудъ подъ сѣнью липъ густыхъ—
Раздолье утокъ молодыхъ;
Теперь мила мнѣ балалайка
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака [1]...

Вообще поэтъ нерѣдко обращается къ русскому крестьянскому быту. Такъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ" передъ нами

Гвоздинъ, хозяинъ превосходный,
Владѣлецъ нищихъ мужиковъ,—

масса дворовой челяди, необходимая принадлежность русскаго барства, и эти служанки, которыя, собирая ягоды въ кустахъ, должны пѣть пѣсни—

Наказъ, основанный на томъ,
Чтобъ барской ягоды тайкомъ
Уста лукавыя не ѣли,
И пѣньемъ были заняты:
Затѣя сельской остроты! [2]...

Картины, выхваченныя поэтомъ какъ бы мимоходомъ, при всей своей краткости, отличаются необыкновенной яркостью. Иногда, впрочемъ, поэтъ останавливается на изображеніи крестьянскаго быта и довольно подробно. Такъ превосходный отрывокъ *Лѣтопись села Горохина* (1830) весь посвященъ изображенію этого быта. Здѣсь—„цѣлая эпопея крѣпостничества", разсказанная съ поразительной реальностью и вмѣстѣ юморомъ. Не можемъ не привести нѣсколькихъ отрывковъ: „Страна (Горохинымъ называемая, по имени столицы своей, число жителей простирается

---

[1]) *Сочин.*, III, 182—183.
[2]) *Сочин.*, III, 66. 100.

до 63 душъ) занимаетъ, разсказываетъ авторъ, на земномъ шарѣ болѣе 240 десятинъ. Къ сѣверу граничитъ она съ деревнями Дернуховымъ и Перкуховымъ (коего обитатели бѣдны и малорослы, а владѣльцы преданы воинственному упражненію заячьей охоты); къ югу рѣка Сивка отдѣляетъ ее отъ владѣній Карачевскихъ вольныхъ хлѣбопашцевъ—сосѣдей безпокойныхъ, извѣстныхъ буйною жестокостью нравовъ; къ западу облегаютъ ее цвѣтущія поля Захарьинскія, благоденствующія подъ властію мудрыхъ и просвѣщенныхъ помѣщиковъ; къ востоку примыкаетъ она къ дикимъ, необитаемымъ мѣстамъ, къ непроходимому болоту, гдѣ произрастаетъ одна клюква, гдѣ раздается лишь однообразное кваканіе лягушекъ... Издревле Горохино славилось своимъ плодородіемъ и благорастворенпымъ климатомъ. На тучныхъ его нивахъ родятся: рожь, овесъ, ячмень и гречиха Березовая роща и еловый лѣсъ снабжаютъ обитателей деревьями и валежникомъ на постройку и отопку жилищъ. Нѣтъ недостатка въ орѣхахъ, въ клюквѣ, брусникѣ и черникѣ. Грибы произрастаютъ въ необыкновенномъ количествѣ; изжаренные въ сметанѣ представляютъ они пріятную, хотя и нездоровую пищу. Прудъ наполненъ карасями, а въ рѣкѣ Сивкѣ водятся щуки и налимы. Обитатели Горохина, большею частью, росту средняго, сложенія крѣпкаго и мужественнаго... Жители Горохина издавна производятъ обильный торгъ лыками, лукошками и лаптями. Сему способствуетъ рѣка Сивка, черезъ которую весною переправляются они на челнокахъ, подобно древнимъ скандинавамъ, а прочее время года переходятъ въ бродъ, предварительно засучивъ нижнее платье до колѣнъ... Мужчины женятся обыкновенно на 13 году на дѣвицахъ 20-ти лѣтнихъ. Жены били своихъ мужей въ те-

ченіе четырехъ или пяти лѣтъ. Послѣ чего мужья уже начинали бить женъ; и такимъ образомъ оба пола имѣли свое время власти, и равновѣсіе было соблюдено... Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ Горохинѣ. Донынѣ стихотворенія Архипа Лысаго сохранились въ памяти потомства (поэтъ приводитъ въ примѣръ одно его „сатирическое" стихотвореніе)... Образъ правленія въ Горохинѣ нѣсколько разъ измѣнялся. Оно попеременно находилось подъ властію старшинъ, выбранныхъ міромъ; приказчиковъ, назначенныхъ помѣщикомъ, и наконецъ непосредственно подъ рукою самихъ помѣщиковъ"... Поэтъ начинаетъ съ „баснословныхъ временъ" села Горохина,—когда всѣ жители онаго были зажиточны, когда „оброкъ собирали единажды въ годъ и отсылали невѣдомо кому на нѣсколькихъ возахъ", когда „все покупали дешево и дорого продавали," „приказчиковъ не существовало, старосты никого не обирали; обитатели работали мало и жили припѣваючи"... Поэтъ далѣе разсказываетъ о грозѣ, постигшей Горохинцевъ: „въ самый день храмового праздника" баринъ прислалъ новаго приказчика, который повелъ дѣло такъ, что „въ три года Горохино совершенно обнищало. Горохино пріуныло, базаръ запустѣлъ, пѣсни Архипа Лысаго умолкли; ребятишки пошли по міру"... Чрезвычайно живая сцена—мірской сходки, на которой пріѣзжій приказчикъ читаетъ крестьянамъ письмо барина и т. д. [1])...

Картины русской деревни нерѣдко вызываютъ въ душѣ поэта тяжелыя мысли. Пушкину не было еще 20 лѣтъ, когда при посѣщеніи имъ роднаго деревенскаго захолустья

---

[1]) *Сочин.*, IV, 110—127.

изъ-подъ его пера вылилось превосходное стихотвореніе „*Деревня*“ (1819). Съ восторгомъ привѣтствуя „пустынный уголокъ“, съ любовью описывая сельскій ландшафтъ, „вдали разсыпанныя хаты“, „овины дымные“,—молодой почти юноша-поэтъ испытываетъ въ тоже время безотрадное чувство; душу поэта омрачаетъ печальная мысль:

Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ—

говоритъ онъ—

Другъ человѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ..
Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!.. [1])

Въ другомъ мѣстѣ, обращаясь къ „румяному критику“, поэтъ рисуетъ такую картину:

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогой,
За ними черноземъ; равнины скатъ отлогой,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка? На дворѣ у низкаго забора
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и то изъ нихъ одно

---

[1]) *Сочин.*, I, 206—207.

Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго борея.
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка,
И кличетъ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ:
Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ!.. [1])

Крестьянскій бытъ нерѣдко выводится у нашего поэта и въ другихъ его произведеніяхъ,—въ *Дубровскомъ*, *Метели*, *Капитанской дочкѣ*, *Утопленникѣ* и т. д. [2]) Величайшей заслугой Пушкина въ этомъ отношеніи было то, что онъ первый коснулся русскаго крестьянскаго быта съ художественною вѣрностью. Указывая на присутствіе въ русскомъ народѣ и здравой мысли и глубокаго нравственнаго чувства, сочувствуя русскому мужику,—онъ не идеализируетъ послѣдняго, но рисуетъ совершенно серьезно и реально. „У Пушкина, говоритъ изслѣдователь, въ первый разъ народъ являлся безъ сентиментальныхъ и романтическихъ ходуль, съ самыми подлинными чертами быта и языка... Въ литературѣ заурядной еще долго тянулось прежнее фальшивое отношеніе къ народности, карамзинская чувствительность, въ соединеніи съ лицемѣріемъ оффиціальной народности, но у большихъ писателей, продолжавшихъ дѣло Пушкина,

---

[1]) *Сочин.*, II, 277—278 (*Капризъ*, 1830).

[2]) Извѣстно также, что Пушкинъ собирался писать комедію «изъ крѣпостнаго и шулерскаго быта»; до насъ дошла лишь программа ея, — изъ которой видно, что въ комедіи между прочимъ предполагалась сцена, гдѣ дворянинъ проигрываетъ въ карты своего стараго слугу, въ его присутствіи. Программа—въ *Сочин.*, V, 6—7. Именно къ этой комедіи, по мнѣнію Анненкова, относится отрывокъ, напечатанный въ *Сочин.*, I, 522—523.

оно стало уже невозможно. Самъ Пушкинъ далеко еще не совершилъ всего дѣла; нужно было еще много изученій и художественнаго труда, чтобы идея „народности" утвердилась въ литературѣ, но поэзія Пушкина давала настроеніе, тонъ этому труду. Подъ внушеніями этой поэзіи, — правдиво-реальное отношеніе къ „народности" было завоевано и у преемниковъ Пушкина развилось въ широкія и уже сознательныя примѣненія" [1]).

Иногда Пушкинъ пытался воспроизводить въ своихъ стихахъ и сюжеты народной поэзіи. Помимо извѣстныхъ его „сказокъ", припомнимъ такіе стихотворные наброски, какъ *Бова* (1815), *Какъ весеннею теплой порой* (1825), *Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ* (1833),— извѣстный прологъ къ „Руслану и Людмилѣ": *У лукоморья дубъ зеленый* (1828) и мн. др.

Поэтъ даетъ намъ нѣсколько картинъ и современнаго ему мѣщанскаго міра. Вотъ, напр., передъ нами бѣдный станціонный смотритель,—„сущій мученикъ четырнадцатаго класса, огражденный своимъ чиномъ только отъ побоевъ, и то не всегда", который „въ дождь и слякоть принужденъ бѣгать по дворамъ, въ бурю, въ крещенскій морозъ уходить въ сѣни, чтобы только на минуту отдохнуть отъ крика и толчковъ раздраженнаго постояльца",—и у котораго одинъ проѣзжій гусаръ обманомъ увозитъ единственную дочь, еще почти дѣвочку (*Станціонный смотритель*),—или вотъ гробовщикъ Адріанъ Прохоровъ, который пируетъ у своего со-

---

[1]) Пыпинъ, *Изслѣдованія русской народности.* Вѣст. Евр , 1883, февр., стр. 617.

сѣда, нѣмца-сапожника, вмѣстѣ съ другими гостями, „большею частью нѣмцами-ремесленниками, ихъ женами и дочерьми“, при чемъ „изъ русскихъ чиновниковъ“ приглашеннымъ является „одинъ будочникъ, чухонецъ Юрко“ (*Гробовщикъ*),—или вотъ „бѣдная вдова, старушка

Съ одною дочерью. У Покрова
Стояла ихъ смиренная лачужка
За самой будкой (*Домикъ въ Коломнѣ*, 1830) и т. д.

Съ особенной яркостью выступаетъ по мѣстамъ въ произведеніяхъ Пушкина современный ему приказный судъ, — столь страшный для мужика и столь подобострастный передъ людьми, подобными Троекурову. Боязнь имѣть какое либо дѣло съ этимъ „судомъ“ заставляетъ крестьянина измѣнить самымъ святымъ своимъ убѣжденіямъ—обязанности христіанина похоронить мертвеца; мужикъ лучше рѣшается пожертвовать спокойствіемъ совѣсти:

Судъ наѣдетъ, отвѣчай-ка;
Съ нимъ я ввѣкъ не разберусь [1]...

Припомнимъ также другую сцену: Взбѣшенный на своего мелкопомѣстнаго сосѣда, Дубровскаго, Троекуровъ, мѣстный деревенскій магнатъ, хочетъ ему отомстить. „Въ первую минуту гнѣва Троекуровъ хотѣлъ было со всѣми своими дворовыми учинить нападеніе на Кистеневку (такъ называлась деревня его сосѣда), разорить ее до тла и осадить самого помѣщика въ его усадьбѣ; таковые подвиги были ему не въ диковинку; но мысли его приняли вскорѣ другое направленіе. Расхаживая тяжелыми шагами взадъ и впе-

---

[1]) *Сочин.*, II, 223 (*Утопленникъ*, 1828).

редъ по залѣ, онъ взглянулъ нечаянно въ окно и увидѣлъ у воротъ остановившуюся тройку; человѣкъ въ кожаномъ картузѣ и въ фризовой шинели вышелъ изъ телѣги и пошелъ во флигель къ приказчику. Троекуровъ узналъ засѣдателя Шабашкина и велѣлъ его позвать. Черезъ минуту уже Шабашкинъ стоялъ передъ Кирилою Петровичемъ, отвѣшивая поклонъ за поклономъ и съ благоговѣніемъ ожидая, что онъ ему скажетъ. „Здорово.... какъ бишь тебя зовутъ“? сказалъ Троекуровъ; за чѣмъ пожаловалъ“?—Я ѣхалъ въ городъ, ваше высокопревосходительство, отвѣчалъ Шабашкинъ, и заѣхалъ къ Ивану Демьянову (приказчику Троекурова) узнать, не будетъ ли какихъ приказаній. „Очень кстати заѣхалъ... какъ бишь тебя зовутъ? мнѣ до тебя нужда; выпей водки и выслушай“. Таковой ласковый пріемъ пріятно изумилъ засѣдателя; онъ отказался отъ водки и сталъ слушать Кирилу Петровича со всевозможнымъ вниманіемъ. „У меня сосѣдъ есть“, сказалъ Троекуровъ: „мелкопомѣстный, грубіянъ; я хочу взять у него имѣніе... Какъ ты объ этомъ думаешь?“ —Ваше высокопревосходительство, имѣются ли какіе нибудь документы?.. „Врешь, братецъ... какъ бишь тебя? какіе тутъ документы? Дѣло въ томъ, чтобы отнять имѣніе и съ документами и безъ документовъ“. — Ваше высокопревосходительство, мудрено. „Подумай, братецъ, поищи хорошенько“. — Если бы, напримѣръ, ваше высокопревосходительство могли достать какъ-либо отъ сосѣда запись, въ силу которой онъ владѣетъ своимъ имѣніемъ, то конечно... „Понимаю, да вотъ бѣда: у него всѣ бумаги сгорѣли во время пожара“. — Какъ, ваше высокопревосходительство, бумаги его сгорѣли? Чего же вамъ лучше? Въ такомъ случаѣ извольте дѣйствовать по законамъ: безъ

всякаго сомнѣнія получите совершенное удовольствіе. „Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое усердіе, а въ благодарности моей можешь быть увѣренъ“. Шабашкинъ, поклонившись почти до земли, вышелъ вонъ, съ того же дня сталъ хлопотать по замышленному дѣлу и, благодаря его проворству, ровно черезъ двѣ недѣли Дубровскій получилъ изъ города приглашеніе явиться въ судъ и представить документы, въ силу которыхъ онъ владѣетъ сельцомъ Кистеневкою..“ И далѣе — слѣдующую за тѣмъ сцену въ засѣданіи суда, гдѣ Дубровскому читается опредѣленіе, въ силу коего изстари принадлежавшая ему Кистеневка объявлялась переходящею во владѣніе Троекурова. Поэтъ хотѣлъ даже приложить къ своему разсказу „подлинникъ“ одной тогдашней судебной резолюціи (резолюцію Козловскаго уѣзднаго суда по дѣлу Крюкова съ Муратовымъ, послужившему основой для повѣсти), — „полагая, что всякому пріятно будетъ увидѣть одинъ изъ способовъ, какимъ на Руси можемъ мы лишиться имѣнія, на владѣніе коимъ имѣемъ неоспоримыя права“... [1])

Чаще всего, впрочемъ, поэтъ обращается въ своихъ произведеніяхъ къ изображенію болѣе близкаго и болѣе знакомаго ему помѣщичьяго быта и высшаго свѣтскаго общества. Оба эти міра занимаютъ главное мѣста въ его произведеніяхъ. Передъ нами опять длинный рядъ чрезвычайно живыхъ и яркихъ типовъ и картинъ. Вотъ помѣщикъ Ларинъ съ супругой... Вотъ только что упоминавшійся нами мѣстный деревенскій магнатъ, „старинный русскій баринъ“, Кирила Петровичъ Троекуровъ. Или вотъ до-

---

[1]) *Сочин.*, IV, 145—146. 147—149 (*Дубровскій*).

брый Гаврила Гавриловичъ Р*: „Онъ славился во всемъ округѣ гостепріимствомъ и радушіемъ; сосѣди поминутно ѣздили къ нему поѣсть, попить, поиграть по пяти копѣекъ въ бостонъ съ его женою, Прасковьею Петровной, а нѣкоторые для того, что бы поглядѣть на дочку ихъ, Марью Гавриловну, стройную, блѣдную семнадцатилѣтнюю дѣвицу", —которая „была воспитана на французскихъ романахъ и, слѣдственно, была влюблена".... (*Метель*). Вотъ другіе два сосѣда-помѣщика, Григорій Ивановичъ Муромскій и Иванъ Петровичъ Берестовъ: Григорій Ивановичъ былъ „настоящій русскій баринъ". Промотавъ въ Москвѣ почти все свое имѣніе, онъ уѣхалъ въ послѣднюю свою деревню— „гдѣ продолжалъ проказничать, но уже въ новомъ родѣ. Развелъ англійскій садъ, на который тратилъ почти всѣ остальные доходы", конюховъ одѣлъ „англійскими жокеями", „поле свои обработывалъ по англійской методѣ" и т. д. Совсѣмъ тѣмъ почитался человѣкомъ не глупымъ, „ибо первый изъ помѣщиковъ своей губерніи догадался заложить имѣнье въ опекунскій совѣтъ—оборотъ, казавшійся въ то время чрезвычайно сложнымъ и смѣлымъ"... Иванъ Петровичъ Берестовъ, выйдя изъ гвардіи въ отставку и уѣхавши въ свою деревню, — оттуда никуда не выѣзжалъ: „Выстроилъ домъ по собственному плану, завелъ суконную фабрику, утроилъ доходы и сталъ почитать себя умнѣйшимъ человѣкомъ во всемъ околодкѣ... Въ будни ходилъ онъ въ плисовой курткѣ, по праздникамъ надѣвалъ сюртукъ изъ сукна домашней работы, самъ записывалъ расходъ и ничего не читалъ, кромѣ сенатскихъ вѣдомостей... Ненависть къ нововведеніямъ была отличительная черта его характера.

Онъ не могъ равнодушно говорить объ англоманіи своего сосѣда" и т. д. (*Барышня-Крестьянка*).

Рядомъ съ отцами и дѣти. Вотъ, напр., цѣлая гостиная „уѣздныхъ барышенъ": „Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знаніе свѣта и жизни почерпаютъ изъ книжекъ. Уединеніе, свобода и чтеніе рано въ нихъ развиваютъ чувства и страсти, неизвѣстныя разсѣяннымъ нашимъ красавицамъ. Для барышни звонъ колокольчика есть уже приключеніе; поѣздка въ ближній городъ полагается эпохою въ жизни, а посѣщеніе гостя оставляетъ долгое, иногда и вѣчное воспоминаніе (*Барышня-Крестьянка*)". Но въ ряду этихъ „барышенъ" поэтъ замѣчаетъ иногда и такіе типы, какъ Татьяна, Ольга, Полина... Первыя двѣ хорошо извѣстны; остановимся нѣсколько на послѣдней. Повѣсть, въ которой выводится эта дѣвушка, къ сожалѣнію, состоитъ всего изъ нѣсколькихъ отрывковъ. Образъ Полины особенно оттѣняется на томъ фонѣ, который ее окружаетъ; общество, среди котораго живетъ она, обрисовывается поэтомъ чрезвычайно яркими штрихами. Припомнимъ, напр., отрывокъ, гдѣ изображается обѣдъ, данный отцомъ Полины пріѣзжей м. Сталь,— „на который были приглашены всѣ московскіе умники". М. Сталь „сидѣла на первомъ мѣстѣ, облокотясь на столъ, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку изъ бумаги. Она казалась не въ духѣ; нѣсколько разъ принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ѣли и пили въ свою мѣру и, казалось, были гораздо болѣе довольны ухою князя, нежели бесѣдою m-me de Staël. Дамы чинились. Тѣ и другіе только изрѣдка прерывали молчаніе, убѣжденные въ ничтожествѣ своихъ мыслей и оробѣвшіе при

европейской знаменитости. Вниманіе гостей раздѣлено было между осетро́мъ и m-me de Staël. Ждали отъ нея поминутно bon mot; наконецъ вырвалось у ней двусмысліе и даже довольно смѣлое. Всѣ подхватили его, захохотали, поднялся шепотъ удивленія; князь былъ внѣ себя отъ радости"... Обѣдъ этотъ производитъ на Полину чрезвычайно тяжелое впечатлѣніе. Все время она сидѣла „какъ на иголкахъ", — лицо ея пылало, слезы показывались у нея на глазахъ. „Я въ отчаяніи! восклицаетъ она, обращаясь къ кузинѣ по окончаніи обѣда, когда гости разъѣхались: „Какъ ничтожно должно было показаться наше общество этой необыкновенной женщинѣ! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. А здѣсь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замѣчательнаго слова въ теченіе цѣлыхъ трехъ часовъ! Тупыя лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидѣла, чего имъ было надобно, что́ могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились... Я сгорѣла со стыда и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ объ нашей свѣтской черни мнѣніе, котораго они достойны" и т. д. (*Рославлевъ*)...

Мужской персоналъ молодого поколѣнія также довольно разнообразенъ. Не останавливаясь на Онѣгинѣ, Ленскомъ, — ихъ лица хорошо извѣстны—припомнимъ другія, менѣе замѣтныя. Вотъ, напр., молодой блестящій гвардеецъ, бросающій все и уѣзжающій въ деревню: онъ мечтаетъ заняться хозяйствомъ. „Званіе помѣщика, пишетъ онъ пріятелю,

есть та же служба.... Петербургъ—прихожая, Москва—дѣвичья, деревня же — нашъ кабинетъ“ (*Романъ въ письмахъ*). Или вотъ Дубровскій-сынъ—въ немъ, какъ справедливо замѣчено, проглядываютъ „уже черты мягкаго, благороднаго, романически-протестующаго и горько обманутаго судьбою александровца, члена Союза Благоденствія“ (*Дубровскій*). Рядомъ съ ними—лица другой категоріи. Вотъ—тогдашній франтъ, двадцати-двухъ-лѣтній малый, будущій дипломатъ, а теперь пока „танцоръ и повеса“; на вопросъ: „Вы чѣмъ пожертвуете?“—разсказъ ведется въ моментъ приближенія Наполеона къ Москвѣ—онъ храбро отвѣчаетъ: „У меня всего на всего 30,000 долгу; приношу ихъ на алтарь отечества“ (*Рославлевъ*). А вотъ и юный удалой гусаръ Бурминъ: въ метель, ночью, онъ сбивается съ дороги, наталкивается случайно на деревенскую церковь, гдѣ ожидала запоздавшаго жениха тайкомъ убѣжавшая изъ дому невѣста, — воспользовавшись недоразумѣніемъ и суматохой, герой, которому полуживая отъ волненія дѣвушка „показалась недурной“, тутъ же преспокойно вѣнчается съ нею, а когда, послѣ вѣнчанья, недоразумѣніе обнаруживается,—„бросается поскорѣй въ кибитку“ и кричитъ ямщику: „пошелъ!“ (*Метель*) и т. д.

Но не одну только современную русскую жизнь воспроизводитъ поэтъ въ своихъ твореніяхъ: поэзія Пушкина давала русскому обществу превосходное пониманіе и своего роднаго прошедшаго. Отъ живой народной дѣйствительности поэтъ обращается къ народной исторіи. Рядомъ съ живыми типами настоящаго,—въ его поэзіи передъ нами цѣлый рядъ типовъ историческаго прошлаго.

По мнѣнію Пушкина, поэзія должна возсоздавать исторію. „Исторія народа, говоритъ онъ, принадлежитъ поэту...“ Въ началѣ 1825 г. онъ пишетъ Гнѣдичу: „Я жду отъ васъ эпической поэмы. „Тѣнь Святослава скитается не воспѣтая— писали вы мнѣ когда-то. А Владиміръ? А Мстиславъ? А Донской? А Ермакъ? А Пожарскій? Исторія народа принадлежитъ поэту...“ [1]) „Какое поле — эта новѣйшая русская исторія! пишетъ Пушкинъ Корфу въ 1836 году. И какъ подумаешь, что оно вовсе еще не обработано, и что кромѣ насъ, русскихъ, никто того не можетъ и предпринять!“ [2]).

Поэзія Пушкина даетъ намъ цѣлый рядъ картинъ изъ нашей исторіи. Вотъ дикіе печенѣги нападаютъ на Кіевъ [3]), вотъ князь Олегъ спрашиваетъ о своей судьбѣ у вдохновеннаго кудесника [4]), — Владиміръ въ „гридницѣ высокой“ пируетъ съ своими богатырями, а „сладостный пѣвецъ Баянъ“ на своихъ гусляхъ воспѣваетъ Руслана... [5]) Въ *Русалкѣ*— превосходныя иллюстраціи ко всей древнерусской жизни... Сцены *Бориса Годунова* представляютъ поэтическую хронику цѣлой эпохи. Съ особенной любовью Пушкинъ обращался къ изображенію временъ Петра Великаго. Въ своихъ историческихъ взглядахъ Пушкинъ бóльшею частью слѣдовалъ Карамзину; однимъ изъ главныхъ пунктовъ, гдѣ они расходились, было поклоненіе Пушкина Петру. Эпоха Петра изображается въ произведеніяхъ поэта краткими, но очень яркими чертами. Передъ нами—живыя историческія лица. Таковъ, напр., образъ самого Петра и бóльшей части выведенныхъ его современниковъ, и сочувствовавшихъ и не

[1]) *Сочин.*, VII, 75. [2]) *Сочин.*, VII, 362. [3]) *Сочин.*, I, 289—292. [4]) *Сочин.*, I, 376—379. [5]) *Сочин.* I, 216 sqq.

сочувствовавшихъ реформамъ. Вотъ, напр., Гаврила Афанасьевичъ Ржевскій: „Онъ происходилъ изъ древняго боярскаго рода, владѣлъ огромнымъ имѣніемъ, былъ хлѣбосолъ, любилъ соколиную охоту, дворня его была многочисленна; словомъ, онъ былъ коренной русскій баринъ,—не терпѣлъ нѣмецкаго духа и старался въ домашнемъ быту сохранить обычай любезной ему старины... Его дочь была воспитана по старинному, т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными дѣвушками; шила золотомъ и не знала грамоты...“ Или вотъ—первый образчикъ новаго просвѣщенія, „молодой К.“, прототипъ длиннаго ряда будущихъ русскихъ петиметровъ XVIII в.: онъ всю молодость провелъ въ парижскихъ салонахъ и только что вернулся въ Россію; первыми его вопросами, по возвращеніи, были—кто хорошій портной? заведена ли въ „варварскомъ Петербургѣ“ хоть опера? Кто въ Петербургѣ первая красавица? Кто славится первымъ танцоромъ? Какой танецъ нынче въ модѣ?... Словомъ, это—„заморская обезьяна“, по выраженію Гаврила Афанасьевича,—просто „скоморохъ“, по отзыву кн. Лыкова (*Арапъ Петра Великаго*). Главный герой этой повѣсти обрисованъ въ отрывкѣ еще слабо, — но все же достаточно, чтобы видѣть, что поэтъ имѣлъ въ виду вывести здѣсь „одного изъ петровскихъ дѣльцовъ“, людей, подобныхъ Нартовымъ, Неплюевымъ и др. *Капитанская дочка* переноситъ насъ въ болѣе позднюю, екатерининскую эпоху. Помимо самыхъ историческихъ фактовъ, поэтъ съ необыкновенной яркостью воскрешаетъ передъ нами минувшій бытъ. Вотъ, напр., добрый Иванъ Кузьмичъ, комендантъ „богоспасаемой крѣпости“, въ халатѣ обучающій дряхлыхъ инвалидовъ, при чемъ ни какъ не можетъ отъ нихъ добиться, „чтобы они

всѣ знали, которая сторона правая и которая лѣвая",—рядомъ съ нимъ и безподобная супруга его, Василиса Егоровна, которая „на дѣла службы смотрѣла, какъ на свои хозяйскія, и управляла крѣпостью такъ точно, какъ своимъ домкомъ". Она сама арестовываетъ провинившихся офицеровъ, отбираетъ у нихъ шпаги, приказывая своей дѣвкѣ, Палашкѣ, „отнести ихъ въ чуланъ", и безъ церемоніи прекращаетъ ученыя занятія Ивана Кузьмича съ инвалидами: „Скажи барину,— посылала она иногда за нимъ Палашку,—гости де ждутъ, щи простынутъ; слава Богу, ученье не уйдетъ, успѣетъ накричаться..." и т. д. Эти и другія лица, выведенныя въ повѣсти, хорошо оттѣняютъ и главную фигуру разсказа, Пугачева... Неостанавливаясь на множествѣ историческихъ и историко-бытовыхъ подробностей, рисуемыхъ поэтомъ,—замѣтимъ еще разъ, что эти картины вообще поражаютъ своей вѣрностью, типичностью схваченныхъ поэтомъ чертъ. Современные историки совершенно справедливо дивятся въ этомъ случаѣ—„вѣрности глаза Пушкина..."

Обращеніе Пушкина въ своей поэзіи къ русской дѣйствительности, къ русской жизни и исторіи, было вполнѣ сознательнымъ. Въ этомъ случаѣ поэтъ опирался на ученаго. Говоря о значеніи Пушкина въ общемъ ходѣ нашей литературы и образованія, мы ни какъ не должны забывать и этой стороны въ личности нашего поэта. Выше уже было замѣчено, что Пушкинъ постоянно и усердно трудился надъ своимъ образованіемъ. Въ своихъ письмахъ изъ Кишинева, Михайловскаго, Одессы — поэтъ постоянно обращается къ

друзьямъ съ просьбою о присылкѣ ему книгъ [1]). Его поэтическія произведенія, по его собственному свидѣтельству, являлись „плодомъ добросовѣстныхъ изученій, постояннаго труда...“ [2]) Поэзія была для него не „легкомысленнымъ занятіемъ“, но „благоговѣйнымъ служеніемъ...“ [3]) „Добросовѣстность труда—для него „порука истиннаго таланта“ [4]).

Стремясь къ народности въ литературѣ, поэтъ старался изучить прежде всего самый народъ. По мнѣнію изслѣдователей, — „ни у кого изъ русскихъ писателей раньше и послѣ (кромѣ спеціалистовъ и записныхъ любителей) не было такого вниманія къ народному преданію, поэзіи, языку; ни кто такъ не любилъ наслаждаться ихъ оригинальностью и мѣткостью“. Поэтъ очень часто упрекамъ нѣкоторыхъ критиковъ противопоставлялъ авторитетъ народнаго языка. Такъ, тогдашнихъ критиковъ очень шокировало употребленное Пушкинымъ выраженіе:

Людскую молвь и конскій топъ—

„Можно ли такъ коверкать русскій языкъ?“ говорили они. Надъ этимъ стихомъ „жестоко посмѣялись“ и въ Вѣстникѣ Европы, жалуется поэтъ, и возражаетъ, ссылаясь на народныя былины и сказки: „Молвь (рѣчь) слово коренное русское. Топъ рмѣсто топотъ (слѣдственно, и хлопъ

---

[1]) Его письма—VII, стр. 90. 99. 100. 101. 119. 120. 121. 131 и т. д. «Книгъ, ради Бога, книгъ»,—пишетъ онъ въ 1824 г. изъ Михайловскаго... «Мнѣ нуженъ англійскій языкъ, пишетъ Пушкинъ Вяземскому оттуда же въ 1825 г.—и вотъ одна изъ невыгодъ моей ссылки: не имѣю способовъ учиться, пока пора...»

[2]) *Сочин.*, V, 73. [3]) *Сочин.*, V, 76. [4]) *Сочин.* V, 145.

вмѣсто хлопаніе) — вовсе непротивно духу русскаго языка, какъ и шипъ вмѣсто шипѣніе: „Онъ шипъ пустилъ по змѣиному“ (*Древ. Русскія Стихотворенія*). На бѣду и стихъ-то весь не мой, а взятъ цѣликомъ изъ русской сказки: „И вышелъ онъ за ворота градскія, и услышалъ конскій топъ и людскую молвь“ (*Бова Королевичъ*). Изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п., прибавляетъ поэтъ,—необходимо для совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка; критики наши напрасно ими презираютъ...“ [1]) Эти цитаты изъ народныхъ былинъ и сказокъ чрезвычайно важны. Самъ поэтъ усердно занимался изученіемъ народной поэзіи. „Живу недорослемъ, пишетъ Пушкинъ изъ Михайловскаго въ 1825 г., валяюсь на лежанкѣ и слушаю старыя сказки да пѣсни. Стихи не лѣзутъ...“ [2]) „Пришлите мнѣ, ради Бога, *стихъ объ Алексѣѣ Божіемъ человѣкѣ* и еще какую нибудь *легенду* — нужно“, пишетъ онъ Языкову изъ Михайловскаго въ 1836 г. [3]) Въ 1824 г. Пушкинъ сообщаетъ брату: „По вечерамъ слушаю сказки—и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма...“ [4]) Поэтъ занимается также и самъ собираніемъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ, — и составилъ даже, по свидѣтельству П. В. Кирѣевскаго, „замѣчательный пѣсенный сборникъ“.

Съ этою же цѣлью поэтъ обращается съ любовію къ лучшему и наиболѣе могущественному выраженію народнаго духа—къ народному языку. „Разговорный языкъ простого народа, пишетъ онъ, достоинъ глубочайшихъ изслѣдо-

---

[1]) *Сочин.*, V, 127. [2]) *Сочин.*, VII, 23. [3]) *Сочин.*, VII, 295. [4]) *Сочин.*, VII, 100.

ваній. Альфіери изучалъ итальянскій языкъ на флорентинскомъ базарѣ. Не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онѣ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ" [1]). „Жеманство и напыщенность оскорбляютъ болѣе, чѣмъ простонародность... [2])

Возражая критикамъ, поэтъ нерѣдко пускается даже въ грамматическія тонкости. „Стихъ: Два вѣка ссорить не хочу—пишетъ онъ—критику показался не правильнымъ. Что гласитъ грамматика? что дѣйствительный глаголъ съ отрицательною частицею требуетъ не винительнаго, а родительнаго пад.; напр. я не пишу стиховъ. Но въ моемъ стихѣ частица не относится къ глаголу „хочу", а не къ „ссорить". Ergo правило сюда нейдетъ. Возьмемъ, напримѣръ, слѣдующее предложеніе: я не хочу вамъ позволить писать стихи, а ужъ, конечно, не стиховъ. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цѣпь глаголовъ и отозваться въ существительномъ? Не думаю... Кстати о грамматикѣ. Я пишу цыганы, а не цыгане, татаре, а не татары. Почему? Потому, что всѣ имена существительныя, кончащіяся на анинъ, янинъ, аринъ и яринъ, имѣютъ свой родительный во множественномъ на онъ, янъ, аръ и яръ; а именительный множественнаго на ане, яне, аре, яре. Всѣ же существительныя, кончащіяся на анъ и янъ, аръ и яръ, имѣютъ во множественномъ именительный на аны, яны, ары и яры, а родительный на ановъ, яновъ, аровъ, яровъ. Единственное исключеніе—имена собственныя. Потомки г-на Булгарина бу-

[1]) *Сочин.*, V, 137. [2]) *Сочин*, V, 138—139.

дутъ г-да Булгарины, а не Булгаре...“ [1]) „Многіе пишутъ: юпка, сватьба, замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ. Никогда въ производныхъ словахъ *т* не перемѣняется на *д*, ни *п* на *б*, а мы говоримъ юбочница, свадебный...“ [2]) Или еще замѣчаніе: „Иностранныя собственныя имена, кончащіяся на *е*, *и*, *о*, не склоняются. Кончащіяся на *а*, *ъ* и *ь*, склоняются въ мужескомъ родѣ, а въ женскомъ нѣтъ; и противъ этого у насъ многіе погрѣшаютъ, пишутъ: книга, сочиненная Гётемъ, и проч.“ [3]). Или: „Двенадцать, а не двѣнадцать — сокращено изъ двое, какъ три изъ трое“ [4]) и т. д. Поэтъ иногда долженъ былъ дѣлать и такія поясненія: „Арабъ (женскаго рода не имѣетъ), житель или уроженецъ Аравіи, аравитянинъ. *Караванъ былъ разграбленъ степными арабами.* Арапъ, жен. арапка, такъ обыкновенно называютъ негровъ и мулатовъ. Дворцовые арапы—негры, служащіе во дворцѣ. *Онъ выѣзжалъ съ тремя парадными арапами.* Арапникъ, отъ польскаго herapnik (de harap, cri de chasseur pour enlever aux chiens la proie. Reiff.). NB. Harap vient de Herab...“, и прибавляетъ: „Право, не худо бы взяться за лексиконъ, или хоть за критику лексиконовъ“ [5]).

Въ другихъ замѣткахъ поэтъ останавливается на русскихъ словахъ, „взятыхъ съ французскаго“, — объясняетъ значеніе старинныхъ словъ и выраженій, собираетъ и объясняетъ народныя пословицы, поправляетъ—невѣрно употребленныя авторами, разбираетъ термины старинныхъ рукописей и т. д. [6]).

---

[1]) *Сочин.*, V, 126—127. [2]) *Сочин.*, V, 136. [3]) *Сочин.*, V, 136. [4]) *Сочин.*, V, 137. [5]) *Сочин.*, VII, 57. [6]) *Сочин.*, V, 90, 137—138.

Всѣмъ этимъ Пушкинъ лучше всего доказывалъ свое вѣрное пониманіе „народности". Въ этомъ отношеніи поэтъ дѣйствительно стоялъ далеко выше многихъ своихъ современниковъ. Въ одномъ мѣстѣ Пушкинъ пишетъ: „Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ отечественной исторіи. Другіе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по русски, употребляютъ русскія выраженія". И прибавляетъ: „Народность въ писателѣ есть достоинство, которое вполнѣ можетъ быть оцѣнено одними соотечественниками; для другихъ оно или не существуетъ, или даже можетъ показаться порокомъ... Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевъ, повѣрій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, вѣра даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болѣе или менѣе отражается и въ поэзіи" [1]). Стремясь къ народности въ литературѣ, Пушкинъ съ любопытствомъ и благоговѣніемъ обращается—къ „стариннымъ памятникамъ нашей словесности, чтобы въ сихъ первоначальныхъ играхъ творческаго духа наблюдать исторію нашего народа",—изучаетъ старыя русскія лѣтописи, чтобы въ лѣтописяхъ угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени,—читаетъ памятники бытовой исторіи русскаго народа, въ родѣ *Урядника сокольничья пути*, и т. д. Въ 1825 г. изъ Михайловскаго онъ пишетъ проф. Мойеру: „Читаю только Карамзина да лѣтописи. Что за чудо эти два послѣдніе

---

[1]) *Сочин.*, V, 26—27.

тома Карамзина! Какая жизнь!..." [1]) Къ труду Карамзина онъ относился вообще съ особымъ интересомъ. Въ одномъ письмѣ 1821 г. Пушкинъ пишетъ Гнѣдичу, что „съ нетерпѣніемъ" ждетъ IX т. „Исторіи" [2]). „Видѣлъ ли ты Н. М. (Карамзина)? пишетъ онъ Девильгу 1825 г. Идетъ ли впередъ „Исторія?" Гдѣ онъ остановился?... [3])" и т. д. Въ 1830 г., въ письмѣ къ Вяземскому, Пушкинъ радуется, что Строевъ составилъ указатель къ Исторіи Карамзина,—„книгу намъ необходимую", и хлопочетъ о его напечатаніи [4]).

Одно время поэтъ съ большимъ усердіемъ изучалъ *Слово о полку Игоревѣ*. Плодомъ этихъ изученій остались отрывки его „замѣчаній на пѣснь о полку Игоревѣ". Отрывки заключаютъ въ себѣ переводъ отдѣльныхъ мѣстъ „Слова" съ различными замѣчаніями филологическими и библіографическими. Нѣкоторыя изъ замѣчаній поэта свидѣтельствуютъ о внимательномъ изученіи имъ вообще памятниковъ славянорусской письменности. Такъ, по поводу перевода первыхъ строкъ Слова: „Не лѣполи ны бяшеть", поэтъ замѣчаетъ: „Въ древнемъ славянскомъ языкѣ частица ли не всегда даетъ смыслъ вопросительный, подобно латинскому ne. Иногда „ли" значитъ „только", иногда „бы", иногда „же"; донынѣ въ сербскомъ языкѣ сохраняетъ она сіи знаменованія. Въ русскомъ, частица „ли" есть или союзъ раздѣлительный, или вопросительный, если управляетъ ею отрицательное „не". Въ пѣсняхъ она иногда никакого смысла не имѣетъ, и вставляется для мѣры, также какъ и частицы: и, что, а какъ ужъ, ужъ какъ [5])"...

---

[1]) *Сочин.*, VII, 201. [2]) *Сочин.*, VII, 68. [3]) *Сочин.*, VII. 136. [4]) *Сочин.*, VII, 50. [5]) *Сочин.*, V, 243 sqq.

Весьма серьезными, вполнѣ учеными, являются также его статьи: *О сочиненіяхъ Георгія Конисскаго, Объ „Исторіи Русскаго народа“ Полеваго, О предисловіи г-на Лемонте къ переводу басенъ Крылова, Разборъ драмы „Марѳа Посадница“ Погодина, Разборъ рѣчи Лобанова: „О духѣ словесности“, Александръ Радищевъ* и др. [1]).

Мы приводимъ первые попавшіеся факты,—но и ихъ достаточно, чтобы видѣть передъ собою не только поэта, но и ученаго. Особенно много и долго Пушкинъ работалъ надъ изученіемъ сырыхъ матеріаловъ по русской исторіи,— этимъ и объясняется поразительно вѣрное пониманіе имъ прошедшаго, „вѣрность его глаза“. Много трудился онъ также надъ изученіемъ старой русской литературы. Множество отрывочныхъ, разбросанныхъ по разнымъ мѣстамъ, историческихъ и критическихъ замѣтокъ Пушкина въ сферѣ исторіи русской литературы поражаютъ своею вѣрностью, — лучше всего доказывая въ немъ серьезнаго мыслителя и ученаго. Брошенныя имъ вскользь, мимоходомъ, замѣчанія очень часто подтверждались позднѣйшими изслѣдованіями. Вообще, здѣсь также нельзя не дивиться вѣрности его историческаго глаза. Одно время Пушкинъ собирался даже писать исторію русской литературы [2]); въ его бумагахъ осталась „программа“

---

[1]) Критическая статья Пушкина по поводу академической рѣчи Лобанова, сказанной въ январѣ 1836 г., является особенно любопытной. Мнѣнія Лобанова, высказанныя какъ бы отъ лица всей академіи, чрезвычайно характерны для своего времени, и какъ нельзя лучше оттѣняютъ противоположные взгляды нашего поэта.

[2]) Въ 1824 г. Пушкинъ пишетъ Вяземскому: «Читая твои критическія сочиненія и письма; я и самъ собрался съ мыслями и думаю на дняхъ написать кое что о нашей бѣдной словесности, о

предполагавшагося труда съ нѣсколькими бѣгло набросанными замѣчаніями „о старой русской словесности“. Приводимъ нѣкоторыя изъ его замѣтокъ,—позволяя себѣ остановиться на этихъ замѣткахъ Пушкина съ нѣкоторой подробностью, такъ какъ эта сторона его литературной дѣятельности, кажется, мало выдвигалась изслѣдователями. Въ одной изъ нихъ Пушкинъ бросаетъ слѣдующій взглядъ на судьбу славяно-русскаго языка: „Судьба его была чрезвычайно счастлива. Въ XI вѣкѣ древній греческій языкъ вдругъ открылъ ему свой лексиконъ, сокровищницу гармоніи, даровалъ ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное теченіе рѣчи; словомъ усыновилъ его, избавя такимъ образомъ отъ медленныхъ усовершенствованій времени. Самъ по себѣ уже звучный и выразительный, отселѣ заемлетъ онъ гибкость и правильность. Простонародное нарѣчіе необходимо должно было отдѣлиться отъ книжнаго; но впослѣдствіи они сблизились, и такова стихія, данная намъ для сообщенія нашихъ мыслей“. Напрасно думаютъ, продолжаетъ онъ,—„что владычество татаръ оставило ржавчину на русскомъ языкѣ. Чуждый языкъ распространяется не саблею и пожаромъ, но собственнымъ обиліемъ и превосходствомъ. Какія же новыя понятія, требовавшія новыхъ словъ, могло принести намъ кочующее племя варваровъ, не имѣвшихъ ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Ихъ нашествіе не оставило никакихъ слѣдовъ въ языкѣ образованныхъ китайцевъ, и предки наши, въ теченіе двухъ вѣковъ стоная

вліяніи Ломоносова, Карамзина, Дмитріева и Жуковскаго. Авось и тисну».... *Сочин.*, VII, 16.

подъ татарскимъ игомъ, на языкѣ родномъ молились русскому Богу, проклинали грозныхъ властителей и передавали другъ другу свои сѣтованія... Едва ли полсотни татарскихъ словъ перешло въ русскій языкъ. Войны литовскія не имѣли также вліянія на судьбу нашего языка; онъ одинъ оставался неприкосновенною собственностью несчастнаго нашего отечества... Въ царствованіе Петра I началъ онъ примѣтно искажаться отъ необходимаго введенія голландскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ словъ. Сія мода распространяла свое вліяніе и на писателей, въ то время покровительствуемыхъ государями и вельможами; къ счастію явился Ломоносовъ“ [1])... „Россіи опредѣлено было высокое назначеніе,—читаемъ въ одной изъ замѣтокъ: необозримыя равнины поглотили силу монголовъ и остановили ихъ нашествіе на самомъ краю Европы... Образующееся просвѣщеніе было спасено растерзанной и издыхающей Россіей... Духовенство, пощаженное удивительной сметливостью татаръ, одно, въ теченіе двухъ мрачныхъ столѣтій, питало искру образованности... Татары не походили на мавровъ. Они, завоевавъ Россію, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля“ [2])... „Петръ I не успѣлъ довершить многое, начатое имъ, читаемъ въ другой. Онъ умеръ въ порѣ мужества, во всей силѣ творческой своей дѣятельности. Онъ бросилъ на словесность взоръ разсѣянный, но проницательный. Онъ возвысилъ Ѳеофана, ободрилъ Копіевича, не поладилъ съ Татищевымъ за его легкомысліе, угадалъ въ бѣдномъ школьникѣ вѣчнаго труженника—Тредьяковскаго. Сынъ молдавскаго господаря

---

[1]) *Сочин.*, V, 21—22. [2]) *Сочин.*, V, 28.

воспитывался въ его походахъ, а сынъ холмогорскаго рыбака, убѣжавъ отъ береговъ Бѣлаго моря, стучался у воротъ Заиконоспасскаго училища“ [1])... О Тредьяковскомъ Пушкинъ пишетъ: „Его филологическія и грамматическія изъясненія очень замѣчательны. Онъ имѣлъ о русскомъ стихосложеніи обширнѣйшее понятіе, нежели Ломоносовъ и Сумароковъ. Любовь его къ Фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выборъ стиха доказываютъ необыкновенное чувство изящнаго. Въ *Телемахидѣ* находится много хорошихъ стиховъ и счастливыхъ оборотовъ... Вообще изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе пользы, нежели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сумароковъ и Херасковъ вѣрно не стоятъ Тредьяковскаго“ [2]). Пушкинъ дѣлаетъ чрезвычайно вѣрную характеристику Ломоносова: „Соединяя необыкновенную силу воли съ необыкновенною силою понятія, Ломоносовъ обнялъ всѣ отрасли просвѣщенія. Жажда науки была сильнѣйшею страстію сей души, исполненной страстей. Историкъ, риторъ, механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ и стихотворецъ—онъ все испыталъ и все проникъ... Первый углубляется въ исторію отечества, утверждаетъ правила общественнаго языка его, даетъ законы и образцы классическаго краснорѣчія, съ несчастнымъ Рихманомъ предугадываетъ открытія Франклина, учреждаетъ фабрику, самъ сооружаетъ махины, даритъ художества мозаическими произведеніями и наконецъ открываетъ намъ истинные источники нашего поэтическаго языка... Науки точныя были всегда главнымъ и любимымъ его занятіемъ, стихо-

---

[1]) *Сочин.*, V, 28—29. [2]) *Сочин.*, V, 206.

творство же иногда забавою, но чаще должностнымъ упражненіемъ. Мы напрасно искали бы въ первомъ нашемъ лирикѣ пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія. Слогъ его, ровный, цвѣтущій и живописный, заемлетъ главное достоинство отъ глубокаго знанія книжнаго славянскаго языка и отъ счастливаго сліянія онаго съ языкомъ простонароднымъ. Вотъ почему преложенія псалмовъ и другія сильныя и близкія подражанія высокой поэзіи священныхъ книгъ суть его лучшія произведенія" [1]... Въ другомъ мѣстѣ онъ прибавляетъ: „Однообразныя и стѣснительныя формы, въ кои отливалъ онъ свои мысли даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславянская, полулатинская, сдѣлалась было необходимостью; къ счастію, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чужаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова... Оды его (Ломоносова), писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своею поэзіею и гораздо болѣе заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели о должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоименитства и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говоритъ онъ о Сумароковѣ, страстномъ къ своему искусству, объ этомъ человѣкѣ, который ни о чемъ,

[1]) *Сочин.*, V, 22—23.

кромѣ какъ о бѣдномъ своемъ риөмичествѣ, не думаетъ... За то съ какимъ жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи" [1]).

Слѣдующее мѣсто письма Пушкина къ Дельвигу, писаннаго изъ Михайловскаго въ 1825 г., показываетъ между прочимъ, съ какой усидчивостью занимался онъ изученіемъ нашей старой литературы. „По твоемъ отъѣздѣ, пишетъ поэтъ —перечелъ я Державина всего и вотъ мое окончательное мнѣніе. Этотъ чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка (вотъ почему онъ и ниже Ломоносова) — онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи— ни даже о правилахъ стихосложенія. Вотъ почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только не выдерживаетъ оды, но не можетъ выдержать и строфы. Что же въ немъ: мысли, картины и движенія истинно поэтическія; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный переводъ съ какого-то чуднаго подлинника. Ей Богу, его геній думалъ по татарски—а русской грамоты не зналъ за недосугомъ... Нашъ поэтъ слишкомъ часто кричалъ пѣтухомъ" [2]). Пушкинъ не разъ высказываетъ въ своихъ замѣткахъ благоговѣйное отношеніе къ труду Карамзина, — „того, кому я обязанъ мыслью моей трагедіи, говоритъ онъ въ предисловіи къ *Борису Годунову*, чей геній одушевилъ и поддержалъ меня, чье одобреніе представлялось воображенію моему сладкою наградой и единственно развлекало посреди уединеннаго труда" [3]). Въ одномъ мѣстѣ поэтъ даетъ слѣдующую оцѣнку научнаго значенія труда Карамзина: „Карам-

---

[1]) *Сочин.*, V. 200—201. [2]) *Сочин.*, VII, 135—136.
[3]) *Сочин.*, V, 73.

зинъ есть первый нашъ историкъ и послѣдній лѣтописецъ. Своею критикой онъ принадлежитъ исторіи, простодушіемъ и апофоегмами хроникѣ. Критика его состоитъ въ ученомъ сличеніи преданій, въ остроумномъ изысканіи истины, въ ясномъ и вѣрномъ изображеніи событій. Нѣтъ ни единой эпохи, ни единаго важнаго происшествія, которыя не были бы удовлетворительно развиты Карамзинымъ. Гдѣ разсказъ его неудовлетворителенъ, тамъ не доставало ему источниковъ: онъ ихъ не замѣнялъ своевольными догадками. Нравственныя его размышленія, своею иноческою простотою, даютъ его повѣствованію всю неизъяснимую прелесть древней лѣтописи. Онъ ихъ употреблялъ какъ краски, но не полагалъ въ нихъ никакой существенной важности“ [1]). Послѣ смерти Карамзина, въ письмѣ къ Вяземскому, въ іюнѣ 1826 г., Пушкинъ пишетъ: „Читая въ журналахъ статьи о смерти Карамзина, бѣшусь, какъ они холодны, глупы, низки. Неужто ни одна русская душа не принесетъ достойной дани его памяти! Отечество въ правѣ отъ тебя того требовать“ [2])... Въ 1827 г. онъ пишетъ Дельвигу: „Сомовъ говорилъ мнѣ о *Вечерѣ у Карамзина.* [3]) Не печатай его въ своихъ „Цвѣтахъ“. Ей-Богу, неприлично. Конечно, вольно собакѣ и на владыку лаять,—но пусть лаетъ она на дворѣ, а не у тебя въ комнатахъ. Наше молчаніе о Карамзинѣ и такъ неприлично: не Булгарину прерывать его—это было бъ еще неприличнѣе“ [4])...

---

[1]) *Сочин.*, V 79. [2]) *Сочин.*, VII, 43.

[3]) Разумѣется статья Булгарина: *Встрѣча съ Карамзинымъ*; напечатана была въ «Сѣверныхъ Музахъ», 1828 г.

[4]) *Сочин.*, VII, 141—142.

„За чѣмъ кусать намъ груди кормилицы нашей, потому что зубки прорѣзались? пишетъ Пушкинъ по поводу отзыва нѣкоторыхъ критиковъ о Жуковскомъ. Что ни говори, Ж у к о в с к і й имѣлъ рѣшительное вліяніе на духъ нашей словесности, къ тому же переводный слогъ его останется навсегда образцовымъ. Охъ! ужъ эта мнѣ республика словесности! За что корить? За что вѣнчать“? [1]) Въ другомъ мѣстѣ Пушкинъ называетъ Жуковскаго „геніемъ перевода“, подобно Voss'у [2]).

Пушкинъ съ особеннымъ интересомъ относился къ произведеніямъ с о в р е м е н н о й ему русской литературы и въ своихъ письмахъ дѣлаетъ хотя и бѣглыя, но часто весьма вѣрныя и мѣткія замѣчанія объ этихъ произведеніяхъ. Изъ его замѣтокъ можно сдѣлать какъ бы сжатую лѣтопись современной ему беллетристической литературы. Приводимъ въ хронологическомъ порядкѣ нѣкоторыя изъ его замѣтокъ.

---

[1]) *Сочин.*, VII, 169.

[2]) *Сочин.*, VII, 28. Въ письмѣ къ Гнѣдичу изъ Кишинева, въ 1822 г., радуясь скорому появленію *Шильонскаго Узника* въ переводѣ Жуковскаго,—Пушкинъ пишетъ: «Впрочемъ, мнѣ досадно, что онъ переводитъ, и переводитъ отрывками—иное дѣло Т а с с ъ, А р і о с т ъ и Г о м е р ъ, иное дѣло пѣсни М а т т и с о н а и уродливыя повѣсти М у р а. Когда-то говорилъ онъ мнѣ о поэмѣ *Родригъ*, С а у т е я; попросите его отъ меня, чтобы онъ оставилъ его въ покоѣ... А н г л і й с к а я с л о в е с н о с т ь н а ч и н а е т ъ и м ѣ т ь в л і я н і е н а р у с с к у ю. Д у м а ю, что оно б у д е т ъ п о л е з н ѣ е в л і я н і я ф р а н ц у з с к о й п о э з і и, р о б к о й и ж е м а н н о й. Тогда нѣкоторые люди упадутъ, и посмотримъ, гдѣ очутится Ив. Ив. Дмитріевъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Ф л о р і а н а и Л е г у в е.» *Сочин.*, VII, 73.

„Каковъ Баратынскій? пишетъ Пушкинъ къ Вяземскому въ 1822 г. Признайся, что онъ превзойдетъ и Парни и Батюшкова, если впредь зашагаетъ, какъ шагалъ до сихъ поръ. Вѣдь 23 года счастливцу!...“ [1]) „Что-жъ чухонка Баратынскаго, спрашиваетъ онъ изъ Михайловскаго брата въ 1824 г. Я жду“... [2]) „Что за прелесть эта *Эда*—пишетъ поэтъ къ Дельвигу въ 1826 году. Оригинальности разсказа наши критики не поймутъ. Но какое разнообразіе! Гусаръ, Эда и самъ поэтъ—всякій говоритъ по своему! А описанія финляндской природы! а утро послѣ первой ночи! а сцена съ отцомъ!—чудо!...“ [3])

Въ письмѣ къ Катенину въ 1822 г. изъ Кишинева,—Пушкинъ съ большими похвалами отзывается о его комедіи *Сплетни* (въ 3 д. въ стихахъ, подражаніе *Le méchant* Грессе) и поздравляя съ переводомъ Корнелева *Сида*, прибавляетъ: „Скажи: имѣлъ ли ты похвальную смѣлость оставить пощечину рыцарскихъ вѣковъ на жеманной сценѣ 19-го столѣтія? Я слыхалъ, что она неприлична, смѣшна, ridicule. Ridicule! Пощечина, данная рукою гишпанскаго рыцаря воину, посѣдѣвшему подъ шлемомъ! Ridicule! Боже мой, она должна произвести болѣе ужаса, чѣмъ чаша Атреева!...“ [4])

„Душа моя, меня тошнитъ съ досады, пишетъ поэтъ изъ Одессы къ брату, въ 1824 году: на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость—долго ли этому быть?“ И далѣе: „Кстати о гадости—читалъ я *Өедору*

---

[1]) *Сочин.*, VII, 5—6.

[2]) *Сочин.*, VII, 100.—«Чухонкой» Пушкинъ называлъ *Эду* Баратынскаго.

[3]) *Сочин.*, VII, 141. [4]) *Сочин.*, VII, 155—156.

Лобанова [1])—хотѣлъ писать на нее критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Расина—перо вывалилось изъ рукъ. И объ этомъ у васъ шумятъ, и это называютъ ваши журналисты прекраснѣйшимъ переводомъ извѣстной трагедіи г. Расина!...“ [2])

Въ началѣ 1825 г. Пушкинъ пишетъ Гнѣдичу: *Пѣсни греческія*—прелесть и tour de force. Объ остроумномъ *предисловіи* можно бы потолковать. Сходство пѣсенной поэзіи обоихъ народовъ явно—но причины?“... [3])

„Кюхельбекера *Духи*—дрянь. Стиховъ хорошихъ очень мало; вымысла нѣтъ никакого. Предисловіе одно порядочно“... [4])

„Твой *Турниръ* напоминаетъ турниръ W. Scotta, пишетъ Пушкинъ Бестужеву въ 1825 г., изъ Михайловскаго. Брось нѣмцевъ и обратись къ намъ православнымъ... [5])

По поводу *Горя отъ ума* Грибоѣдова, Пушкинъ пишетъ ок. 1825 г. Бестужеву изъ Михайловскаго: „Драматическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собой признаннымъ. Слѣдственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличій комедіи Грибоѣдова. Цѣль его—характеры и рѣзкая картина нравовъ. Въ этомъ отношеніи Фамусовъ и Скалозубъ превосходны. Софья начертана не ясно: не то ....., не то московская кузина. Мол-

---

[1]) Разумѣется: *Федра, трагедія Расина*, переводъ М. Лобанова. Спб. 1823.

[2]) *Сочин.*, VII, 96. [3]) *Сочин.*, VII, 75.

[4]) *Сочин.*, VII, 283—284.

[5]) *Сочин.*, VII, 176. *Ревельскій Турниръ* Бестужева (Марлинскаго) былъ напечатанъ въ «Поляр. Звѣздѣ» 1825 г.

чалинъ не довольно рѣзко подлъ; не нужно ли было сдѣлать изъ него и труса? Старая пружина—но штатскій трусъ въ большомъ свѣтѣ между Чацкимъ и Скалозубомъ могъ быть очень забавенъ. Les propos du bal, сплетни, разсказъ Репетилова о клубѣ, Загорѣцкій, всѣми отъявленный и вездѣ принятый—вотъ черты истинно-комическаго генія. Теперь вопросъ: въ комедіи „Горе отъ ума", кто умное дѣйствующее лицо? Отвѣтъ: Грибоѣдовъ. А знаешь ли, что такое Чацкій? Пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно съ Грибоѣдовымъ) и напитавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями. Все, что говоритъ онъ, очень умно. Но кому говоритъ онъ все это? Фамусову? Скалозубу? На балѣ московскимъ бабушкамъ? Молчалину? Это непростительно. Первый признакъ умнаго человѣка, съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и не метать бисера передъ Репетиловыми и т. п... О стихахъ я не говорю—половина должна войти въ пословицы"... [1])

„Читалъ я твое о *Чернецѣ*, [2]) пишетъ Пушкинъ Вяземскому въ 1825 г.,—ты исполнилъ долгъ твоего сердца. Эта поэма, конечно, полна чувства и умнѣе *Войнаровскаго*, но въ Р ы л ѣ е в ѣ есть болѣе замашки или размашки въ слогѣ... За то *Думы* дрянь, и названіе сіе происходитъ отъ нѣмецкаго d u m m, а не отъ польскаго, какъ казалось бы съ перваго взгляда"... [3]) И въ другомъ мѣстѣ прибавляетъ о „Думахъ": „Всѣ онѣ слабы изобрѣтеніемъ и изложеніемъ. Всѣ онѣ на одинъ покрой, составлены изъ общихъ мѣстъ (loci topici),

---

[1]) *Сочин.*, VII, 169—170. [2]) Поэма И. И. К о з л о в а (род. 1779, ум. 1840). *Чернецъ* явилась въ 1824 г.

[3]) *Сочин.*, VII, 28.

описаніе мѣста дѣйствія, рѣчь героя и нравоученіе. Національнаго русскаго нѣтъ въ нихъ ничего, кромѣ именъ"... [1])

Видѣлъ я Слѣпушкина, пишетъ онъ къ Дельвигу въ 1826 г.: Неужто никто ему не поправилъ *Святки, Масляницу, Избу?* У него истинный свой талантъ; пожалуста, пошлите ему отъ меня экземпляръ „Руслана" и моихъ стиховъ—съ тѣмъ, чтобы онъ мнѣ не подражалъ, а продолжалъ идти своею дорогою". [2])

Пушкинъ радуется появленію перевода *Иліады* и съ благодарностью привѣтствуетъ поэта,—„посвятившаго гордо лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго, высокаго подвига", долженствующаго имѣть „столь важное вліяніе на отечественную словесность". Онъ сожалѣетъ, что „незнаніе греческаго языка" мѣшаетъ ему приступить къ полному разбору „Иліады": „Онъ не нуженъ для вашей славы, пишетъ Пушкинъ Гнѣдичу,—но былъ бы нуженъ для Россіи" [3]).

Пушкинъ съ большими похвалами отзывается также о романахъ Загоскина: *Юрій Милославскій* и *Аскольдова Могила*—„лучшихъ романахъ нынѣшней эпохи". Впрочемъ, замѣчаетъ поэтъ, „дарованіе Загоскина замѣтно измѣняетъ ему, когда онъ приближается къ лицамъ историческимъ"... [4]) Укоряетъ Лажечникова за несоблюденіе

---

[1]) *Сочин.*, VII, 175 *Историческія Думы* К. Ѳ. Рылѣева (род. 1796, † 1826) и его поэма *Войнаровскій* отдѣльнымъ изданіемъ вышли въ 1825 г.

[2]) *Сочин.*, VII, 141. Ѳ. Н. Слѣпушкинъ, забытый теперь стихотворецъ самоучка, род. 1763 г., ум. 1848, сынъ крестьянина ярославской губ.,—занимался торговлей, но въ свободное время писалъ стихи, выдержавшіе нѣсколько изданій.,

[3]) *Сочин.*, V, 76; VII, 76. [4]) *Сочин.*, VII, 14; V, 90.

„исторической правды“ въ *Ледяномъ Домѣ* и вступается за Тредьяковскаго, „оскорбленнаго“ въ этомъ романѣ [1]).

Съ восхищеніемъ отзывается о *Мароѣ Посадницѣ* Погодина: „Мароа“ имѣетъ европейское, высокое достоинство, пишетъ Пушкинъ. Что за прелесть сцена пословъ.... А вѣче? А посадникъ? А князь Шуйскій? А князья удѣльные?... Все это достоинства Шекспировскаго“... Существенный недостатокъ трагедіи Пушкинъ видѣлъ въ ея слогѣ: „Одна бѣда, пишетъ онъ Погодину—слогъ и языкъ. Вы неправильны до безконечности—и съ языкомъ поступаете, какъ Іоаннъ съ Новгородомъ. Ошибокъ грамматическихъ, противныхъ духу его—усѣченій, сокращеній—тьма. Но знаете ли? и эта бѣда не бѣда. Языку нашему надобно воли дать болѣе. Разумѣется, сообразно съ духомъ его. И мнѣ ваша свобода болѣе по сердцу, чѣмъ чопорная наша правильность“ [2])....

„Какъ вамъ кажется *письмо* Чаадаева?“ спрашиваетъ онъ Погодина, по поводу явившихся въ 1828—1829 гг. въ рукописяхъ писемъ Чаадаева. Позднѣе, въ письмѣ къ самому Чаадаеву, Пушкинъ относится къ этимъ письмамъ вполнѣ самостоятельно,—одобряя одно и горячо возражая на другое [3]).

Въ 1833 году, въ письмѣ къ В. Ѳ. Одоевскому Пушкинъ спрашиваетъ, какъ идетъ комедія Гоголя—„въ ней же есть закорючка“?... [4])

---

[1]) *Сочин.*, VII, 370—371.

[2]) *Сочин.*, VII, 308. Подробный разборъ *Мароы Посадницы*, написанный Пушкинымъ, см: V, 145—148.

[3]) *Сочин.*, VII, 307. 341—343.

[4]) *Сочин.*, VII, 366. См.—ib., прим.

„Сейчасъ прочелъ *Вечера близъ Диканьки.* Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не образумился. Ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты по своему обыкновенію нападутъ на неприличіе его выраженій, на дурной тонъ и проч. Пора, пора намъ осмѣять les prècieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующихъ вѣчно о прекрасныхъ читательницахъ, которыхъ у нихъ не было, о высшемъ обществѣ, куда ихъ не просятъ, и все это слогомъ камердинера профессора Тредьяковскаго [1]“...

За два дня до смерти, Пушкинъ предлагаетъ А. О. Ишимовой сдѣлать нѣсколько переводовъ изъ *Barry Cornwall.* Отсылая къ ней эту книгу, онъ пишетъ ей: „Сегодня я нечаянно открылъ вашу *Исторію въ разсказахъ,* и по неволѣ зачитался. Вотъ какъ надобно писать!...“ [2])

Эта записка къ Ишимовой представляетъ послѣднія строки, начертанныя нашимъ поэтомъ: черезъ нѣсколько часовъ онъ получилъ смертельную рану.

На этомъ мы окончимъ свой очеркъ, разросшійся гораздо дальше первоначально намѣченныхъ границъ...

. . . .

Таково было то „новое, истинное“ содержаніе, которое вносилось въ нашу литературу Пушкинымъ. Воспринимая въ

---

1) *Сочин.*, VII, 350—351 (письмо къ А. Ѳ. Воейкову, 1831 г).

2) *Сочин.*, VII, 379.

себя это содержаніе, наша литература дѣйствительно разомъ выростала на цѣлое столѣтіе,—разомъ поднималась на недосягаемую ей дотолѣ высоту. Новая „собственность“ русскаго народа—представляетъ „исходный пунктъ нашего новѣйшаго литературно-общественнаго развитія и залогъ его будущаго“... Современникомъ Пушкина былъ Грибоѣдовъ, преемниками—Лермонтовъ, Гоголь,—за которымъ шли: Гончаровъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Островскій, Достоевскій—до Льва Толстого включительно. Это было—„племя молодое, незнакомое“ Пушкину, но родное и близкое ему по характеру и направленію дѣятельности... Съ особымъ благоговѣніемъ мы должны вспомнить о нашемъ, столь рано погибшемъ, поэтѣ теперь, когда русская литература завоевала себѣ столь прочное и почетное мѣсто среди западно-европейской литературы,—когда въ западной Европѣ мы видимъ „цѣлый дождь переводовъ“ изъ русской литературы,—когда западно-европейскіе читатели удивляются богатству содержанія и силѣ поэтическаго творчества нашихъ современныхъ писателей [1]). Мы не должны забывать, что этимъ своимъ „торжествомъ“ русская литература обязана Пушкину...

За чуждымъ свѣточемъ мы шли тропою узкой,
Но смѣло поднялъ ты свободное чело
И путь открылъ иной: въ потокѣ жизни русской
Твой духъ обрѣлъ широкое русло.

* * *

---

[1]) V-te E. M. de Voguè, *Le Roman Russe*. Paris, 1886. Пыпинъ, *Русскій романъ за границей*. Вѣстн. Евр. 1886, сентябрь, стр. 300—344.

Ты, къ матери землѣ припавши чуткимъ ухомъ,
Услышалъ мощные, живые звуки въ ней,
И Русь проникнулась твоимъ могучимъ духомъ—
Ты далъ сознанье силы ей... [1])

---

[1]) *Памяти Пушкина*, стихотвореніе А. Яхонтова. Вѣнокъ и пр., стр. 313.